

РА 1394 885

БОРИС НЕВODOB

В грозу

ОГИЗ
САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1945

Виктора Цурра
г. Саратов
апрель 1946г.

Борис Неволов

В Г Р О З У

(роман)

ОГИЗ
Саратовское областное ~~издательство~~
1945

Виктору Тура-

страдающему тем же таме и
и неизлечимым недугом, что и автор
этой повести - столько же му-
теньким, сколь и прекрасным
и радостным - любовью к ли-
тературе и к литературному
труду. И если ты, Виктор,
в своих творческих усилиях и
поисках, добьешься победы -
буду очень рад. Иди вперед,
всегда вперед вперед, невзирая
на все возможные трудности - и
когда будешь!

Труфанов
Андрей Иванович

Часть первая

I

Моросил дождь. По размытой степной дороге медленно тащилась телега. Пара лошадей, увязая в липкой грязи, с трудом передвигала ноги. В телеге — узлы, мешки, корзины, на них, прижавшись друг к другу, укутанные в шали и одеяла — женщины и дети.

На коленях Анны Степановны, пожилой женщины с крупными чертами лица, сидела девочка лет семи. Девочка плакала, Анна Степановна, стараясь согреть ребенка, прижимала его к себе.

— Перестань, Валя, скоро приедем в деревню, поедим щей, спать ляжем.

— А к маме когда? — спросила девочка.

— И маму разыщем, — Анна Степановна вздохнула. — Не забудет мать.

— К маме хочу, — хныкала девочка, — домой.

— Разве мать забудешь, — отозвалась сидящая рядом молодая женщина. Она заботливо поправила одеяло, которым были укрыты прикурнувшие в ногах на соломе два мальчика. — Не скоро, видно, попадем в свой дом.

— Придет срок, Ксаша, и домой вернемся.

— Говоришь, мамаша, а сама веришь ли?

— Верю, иначе жить не стоило бы...

— Сколько мук, сколько страданий!

Третья спутница — молоденькая девушка — неожиданно прыснула со смеху.

— Ты чего? — удивилась Ксаша.

— Вспомнилось: Виктор как-то ботинки новые купил, мозоль натер, ходит, стонет: ох, больно, ох, страдаю. Умора!

— Глупости говоришь, Сашенька, — оборвала ее Анна Степановна. — Когда поумнеешь?

Девушка обидчиво сжала губы.

Налетел порывистый ветер, холодная струя больно стегнула по лицу. Анна Степановна плотнее укрылась платком, прижав к себе Валю. Телега двигалась толчками, назойливо шуршал дождь, будто рядом пересыпали песок: шы...шы...шы. Анна Степановна закрыла глаза, и на секунду ей представилось, что будут они тащиться веки-вечные на этой телеге, слушать раздражающее чавканье под копытами лошадей и это глухое шуршание дождя. И черная дорога будет тянуться без конца, без края. Скучно осенней порой в степи!

Под тягучий скрип колес и тряску Анна Степановна задремала. Когда очнулась, уже стемнело; было удивительно тихо, падал густой мелкий снег. Он медленно оседал на лошадях, на срубе, на лицах людей и таял.

— Снег! — обрадовалась Валя.

Детишки завозились, закричали на разные голоса:—Зима, зима!
— Далеко еще? — спросила у возницы Анна Степановна.

Возница, круглолицая колхозница, одетая в мужской дубленый полушубок, не оборачиваясь, ответила:

— Не очень, вон за тем бугром и наша деревня.

Напрасно Анна Степановна всматривалась в белесую мглу: снег падал отвесно, заволакивая даль.

Ехали молча, пробиваясь сквозь мокрую снежную пелену, и вдруг попали в какую-то шумную, широкую, темную реку. Они плыли по этой реке, сдавленные ее мутными волнами. Волны напирала на телегу, бились о колеса, грозя опрокинуть. Послышался треск оглобли. Возница взмахнула кнутом, сердито окликнула:

— Куда прешы!

Испуганные заплакали дети.

— Что случилось? — тревожно спросила Анна Степановна. Кто-то легонько толкнул ее в бедро; она вытянула руку, нащупала рога и влажную шерсть. „Что это такое?“ — испуганно подумала Маслова, услышала прерывистое дыхание и близко-близко, рядом с телегой, увидела огромную коровью голову. Корова шумно вздохнула, лизнула шершавым языком руку женщины. И тут Анна Степановна разглядела еще корову и еще, и еще; они двигались по дороге, тесня одна другую.

— Фень-ка, где ты? — слышался голос. Около телеги, вынырнув из мглы, появилась запорошенная снегом женщина, охрипшим голосом спросила:

— До Красного Лога далече?

— Версты две, не больше, — ответила возница. — Откуда?

— С Днепра идем, — коротко и буднично сказала погонщица, будто Днепр находился где-то по соседству.

— Далеко, — протянула удивленно Анна Степановна, — и давно в дороге?

— Второй месяц...Куда! — крикнула женщина.

— Что делается, что делается, — завздыхала возница, — гонят и день и ночь, ни людям, ни скоту покоя. Земля с месга тронулась.

Лошади обогнали стадо, темная река осталась позади, но еще долго до слуха Анны Степановны доносился глухой топот ног и тоскливое мычанье коров. А когда закрывала глаза, вновь представлялась запорошенная снегом женская фигура и слышался спокойный ответ: „С Днепра идем“.

* * *

Посыльный сельсовета Егорка привел приезжих на квартиру к Аграфене. Аграфена — подвижная, суетливая женщина — заохала, завздыхала:

— Куда вы, куда! У меня и места нет, и класть некуда, и постелить нечего. Самого-то в первые дни забрали, третий месяц ни слуху, ни духу. Может, головушку положил, а я тут с ребятами маюсь... Ты что же председателю не сказал? — напала она на посыльного. — Люди есть исправнее меня живут. Вон Евдокия — доярка, одна, ребят нет.

Анна Степановна до того устала в дороге, что не могла уже ни просить, ни убеждать. Она положила на полузлы, села на них, тихо сказала:

— Как хочешь, хозяйюшка, а мы отсюда не уйдем, сил нет. И некуда нам деваться. Потерпи до утра, завтра как-нибудь устроимся.

И в ее голосе, на ее лице была такая скорбь, такая гнетущая тоска, что Аграфене стало совестно.

— Ладно, оставайтесь, только тесно у меня, и стелить нечего.

— Мы невзыскательные.

Приезжие принялись раскутывать ребят, развязывать узлы и мешки. Аграфена завозилась у печки, гремя ухватками. Вскоре на столе появилось огромное глиняное блюдо с дымящимся варевом.

— Садитесь, кушайте. С дороги притомились.

— Спасибо, хозяйка, — отказывалась Анна Степановна, доставая из баульчика провизию, — у нас еще свое осталось.

— Чего там, пока имею, делюсь, а не будет, скажу не обессудьте.

Аграфена нарезала толстыми ломтями хлеб, прошла в сени, принесла горшок молока.

— Садитесь.

— Садитесья некому, гляди, — Анна Степановна показала глазами: на узлах и мешках в самых разнообразных и неудобных позах спали ребята. Сашенька, взрослая дочь Масловой, сидела на хозяйском сундуке, низко свесив на грудь голову. Уткнувшись в ее колени, полустоя, храпела Валя.

— Умаялись, не буди, пускай спят. Садитесь сами.

— Спасибо, хозяйка, ты добрая женщина.

— Мир велик, а тесен, — ответила Аграфена, — я вас накормлю, а моего Васю, может, в ваших краях покормят.

— Наши края, — задумчиво произнесла Ксаша, черпая деревянной ложкой щи из блюда, — нет их больше.

— Вчера в доме колхозника, в вашем городе, — сказала тихо Маслова, — услышали по радио: нет дома, нет родной земли... Немец забрал... Мой средний сын Алексей прощался, говорил: „Даром города не отдадим, мать“. А вот, отдали. Что с ними? Семеро ведь там осталось.

Она вздохнула, отложила ложку:

— Не могу, кусок в горло не лезет...

В наступившей тишине было слышно ровное дыхание спящих ребят да поскрипывание ставни. За окном попрежнему густо падал снег...

Вагонная сутолока, забота в дороге о малышах и багаже, утомительное ожидание поездов на станциях, тряска в телеге по степи, — все это отвлекало мысли об оставленном доме. Тоску по родным местам, по обжитому, привычному миру Анна Степановна почувствовала болезненно остро, когда после ужина все легли спать на полу, и она осталась наедине со своими мыслями. Кончился длинный мучительный путь, больше некуда ехать, не надо ехать. И, как это обычно бывает после долгого напряжения, нервы ослабли, Анна Степановна ощутила упадок душевных сил, какой прежде никогда не испытывала.

„Анна, что с тобой? — спрашивала она себя, лежа с открытыми глазами, — где твоя выдержка? Ньюни распустила! Стыдись, старая ткачиха! Ты еще не то видала на своем веку“.

Маслова ворочалась с боку на бок, принималась считать до ста — не раз испытанное средство, но мысли не отпускали, цепко держали ее, вызывая в памяти картины пережитого.

Давно ли, кажется, сидела она за столом в кругу своей большой горластой рабочей семьи и слушала рассказы сыновей о футбольных матчах, о производственных рекордах в их цехе. Младший, Виктор, ее любимец, отхлебывая с блюдца чай, говорил всегда возбужденно. Его глаза задорно блестели, он не сидел на месте, ерзал на стуле, вскакивал, вновь садился. Только три месяца, как он был женат на Ксаше, еще не остыл их любовный пыл, и Анна Степановна ревниво наблюдала, как Виктор бережно и ласково обращался с молодой женой. „Уходит от меня“, — думала она с горечью.

Давно ли это было? Сколько времени прошло с того памятного вечера, когда она согласилась уехать из родного города? Год, два? Нет, всего лишь три недели. Только три недели, а каким далеким, ушедшим в безвозвратное прошлое кажется ей теперь тот последний день!

Поздно вечером с завода пришел Алексей и хмуро сообщил: немцы близко, и город решено эвакуировать.

— Собирайся, мать, ночью уйдет эшелон.

— А вы?

— Мы остаемся.

— И Вера?

— Она медицинская сестра.

— Я тоже останусь, никуда не поеду. — Маслова сидела на широкой супружеской кровати, на которой родила восьмерых детей. Ее сухие, кривые пальцы вцепились в одеяло. — Не поеду, — упрямо повторила она. — Родилась тут, полвека прожила, тут и умру.

— А ребята? Ксаша молода, одна не управится с ними, и Сашеньке без матери нехорошо. Остаться вам здесь нельзя. — Алексей долго, терпеливо и мягко уговаривал. Она упорствовала, отказывалась, наконец, поплакала, согласилась.

И вот в мгlistый предрассветный час, в туманной дымке, мимо окна медленно поплыл вокзал. Глухо доносилась артиллерийская канонада, будто за привокзальным садиком безостановочно катали тяжелые бочки. Анна Степановна сидела у окна вагона и смотрела на знакомые места: вот железнодорожная больница, где старшая сноха Вера родила первенца Колю; вот школа, куда не так давно с учебниками под мышкой бегал ее младшенький Виктор; а вот и стадион — предмет постоянных разговоров средних сыновей — Сергея и Владимира — физкультурников. Мимо окон уже неслись домики пригородной слободы, огороды с картофельной побуревшей ботвой, колодцы с журавлями. Вот и кладбище, за ним — поля. Город остался позади. Увидит ли она его когда-нибудь?

Воскрешая сейчас в памяти отъезд, Анна Степановна почувствовала стеснение в груди, и, уже не сдерживаясь, горестно заплакала, уткнувшись лицом в подушку.

II

Председатель колхоза Иван Филиппович Червяков — уже немолодой, с проседью мужчина, встретил ткачих довольно сухо. Он смотрел на них, слегка прищурясь, и молча слушал, ожидая, что они, как и приехавшие до них эвакуированные, будут сетовать на свою судьбу, начнут просить одежды, обуви, молока, мяса, — он-то это знает! Он откажет, они уйдут обиженные, потом, чего доброго, в райком пожалуются — канитель! Червяков ожесточенно притушил о пепельницу окурков папиросы, спросил:

— Откуда приехали? — и, не дождавшись ответа, торопливо добавил: — хлеба на первый раз дадим, а насчет молока — извиняйте, коровы перестали доиться.

Анна Степановна нахмурилась.

— Мы не за тем пришли, чтобы кланяться. Сами хлеб добудем, ты работу дай.

— Так, так... Дела, значит, просите? — В голосе Червякова послышались нотки удивления.

— Утром проснешься, — рассказывала Анна Степановна, — ждешь по привычке — вот-вот закричит гудок, позовет. А как вспомнишь, гудка не будет, и затоскуешь... Ткачихи мы, с малых лет к фабрике приставлены.

— К труду привычны, в работе всю жизнь, — поддержала по другу Мария Поленова, — теперь ходим, как потерянные...

— Понятно, — кивнул головой Червяков. — Заскучали, значит. Да ведь на фабрике одно занятие — пустил станок и стой, покуривай, а у нас...

— Положим, — вмешалась в разговор третья ткачиха Васса Хабарова. — А почему одна еле норму дает, а другая на том же станке две гонит? Всяк спляшет, да не так, как скоморох.

— По работе и мастера знать, всюду сноровка требуется, — согласился Червяков. — Воз соломы навить, куда кажется просто, а как-то пришел ко мне Петр Петрович Перепелица, юрист из эвакуированных, просит топки. У нас топка, известно, —

солома. „Пожалуйста, говорю, не жалко, возьми лошадь, поезжай на гумно, привези“. „Извините, говорит, не сумею, не привычен“. Воз соломы навить не умеет! Пришлось женщину посылать, а мужчина видный, здоровый.

— Люди разные, — заметила Поленова.

— Вот я и говорю, — продолжал свою мысль Червяков, — кабы летом, ну там прополка, сено копнить, снопы таскать, туда-сюда, а сейчас, — он слегка развел руки, — ума не приложу, куда вас поставить, вакансий свободных нет, — ввернул он нравившееся ему слово.

В это время открылась дверь, и в избу влез заведующий фермой Шаров, грузный, широкоплечий мужчина. Он вразвалку прошел к столу, сел на табурет, неспеша свернул самокрутку, закурил.

— Работу просят, — обратился к нему Червяков, — куда их определить, как думаешь?

Шаров выпустил клуб дыма, посмотрел внимательно на ткачих и глубокомысленно ответил:

— Не знаю.

— Посоветовал! Голова с мозгом, — усмехнулся Червяков. — Что на ферме делается? Как новое стадо?

Шаров ответил не сразу. Затянулся еще раз, бросил на пол окурок и, сплюнув, старательно раздавил его ногой.

Червяков искоса посмотрел на ткачих: каков, мол, глядите.

Неторопливо Шаров сообщал о новом, прибывшем на днях с Днепропетровщины стаде: коровы в дороге отощали, лежат, три скинули прежде времени. Ухаживать за ними соглашаются Катерина Тучина да Лукерья Огурцова.

— У той дитё малое — недосуг, у той на руках чесотка, третья прямо говорит — не пойду. Скот тощей, то ли будет молоко, то ли нет.

— Так, так, — задумчиво произнес Червяков, — не хотят. Конечно, доярка в интересе от удоя. Среди молодежи надо поискать.

— Пошли нас на ферму, товарищ председатель, — предложила неожиданно Маслова.

Червяков удивленно поднял брови.

— Ишь куда метнула! Доярка, знаешь, — должность серьезная; корова — это же целое богатство по нынешним временам... Раньше доводилось ухаживать за коровами?

„Нет, — чуть было не сорвался у Масловой, — не только корову, даже кур не держала“.

— Была бы охота, заладится всякая работа, — ответила она, — объяснишь, научимся, мы народ понятливый.

— Так-то так, а все же, — колебался Червяков. — Люди навредят, а председатель отвечать: что, скажут, глядел, зачем назначал. Не подведете? — спросил он и улыбнулся; лицо его сразу помолодело, стало добродушным.

Ткачихи засмеялись.

— Будем работать, как у себя на фабрике, не беспокойся, не хуже ваших все сделаем.

— Слышишь, заведующий фермой!

Шаров даже не взглянул на ткачих. Лицо его было по-прежнему спокойно.

— Что молчишь? Тебе работать с ними.

— Назначай, — безучастно ответил Шаров. — Мне с кем не работать, только бы дело справляли.

— Гляди, на то ты и заведующий.

На лице Шарова — прежнее безразличие. Кто бы ни ухаживал за коровами, у него останутся те же заботы и хлопоты, все равно придется ругаться — народ ведь какой! Он поговорил еще несколько минут с Червяковым о разных делах, встал, надвинул глубоко на лоб шапку, сказал „пошли“ и первым шагнул к выходу.

* * *

Ферма находилась за селом, на выгоне. Туда надо было идти по длинной деревенской улице, растянувшейся вдоль мелководной степной речушки. Снег растаял, было сыро, грязно. Избы, плетневые заборы, высокие ветлы на берегу речушки почернели от влаги, будто обуглились.

Ткачихи еле поспевали за Шаровым. В высоких добротных сапогах, он широко шагал, не разбирая дороги, по лужам, по грязи, не оглядываясь, вполне уверенный, что женщины идут за ним. Попржнему молчал, на вопросы ткачих отвечал нехотя, односложно.

„Бирюк“, — подумала Анна Степановна, глядя с неприязнью на широкую, слегка сутулую спину Шарова.

На дворе фермы стоял навитый соломой фургон. Впряженные верблюды, горделиво повертывая головы, важно пережевывали жвачку. Колхозница в полушубке сбрасывала с фургона корм. Маслова заметила, как женщина, поддев вилами огромный пук соломы, перегнулась назад всем туловищем и с усилием перекинула солому через решетчатую наклейку фургона. Увидя Шарова, колхозница прекратила работу.

— Что же это такое, Яков Власыч, — заговорила она низким грудным голосом, — привези да еще и сложи. Евдокию кликнула, она — ни в какую. А мне что — больше всех надо! Что я — в поле обсевок, за всех работать?

— Погоди, Катерина, разберемся, — невозмутимо ответил Шаров.

— Пока тебя ждешь, солнышко закатится; у меня дома четверо, не поены, не кормлены. Плюну вот и уйду.

— Сказано — обожди. — Шаров с ткачихами вошел в коровник. Там шла уборка. Недалеко от входных дверей полная женщина с одутловатым лицом чистила поскребком стойло. Она не обратила внимания на вошедших, продолжая яростно счищать навоз.

— Ты бы того, Авдотья, — обратился к ней Шаров, — помогла бы Катерине фургон опростать.

— Здрасьте!—ответила резко Евдокия, и дряблые щеки ее задрожали.—Авдотья туда, Авдотья сюда, всем дырам затычка. Катерине помощи, а мне кто поможет? Гляди, грязи сколько! Тебе что, сказал, повернулся да пошел. Все свалил на доярок: мы и коровник чисти, и корма вози, и дрова таскай, того гляди телят рожать заставишь.

— Понесла,—не возвышая голоса, все так же невозмутимо произнес Шаров.—Катерина тоже не двуязычная, с утра не емши, помочь надо бы.

— Иди и помогай,—крикнула в сердцах Евдокия,—а мне не разорваться.

— С тобой свяжись, чорт обрадуется. Пойду помогу, а вы обождите,—и вышел во двор.

— Впору резиновые сапоги обувать,—сказала Маслова, оглядывая коровник,—грязно.

— Чем хаять-то,—произнесла слащаво Евдокия,—взяла бы поскребок да и потрудилась.

— Давайте поможем,—обратились Маслова к подругам.— Где лопаты?

Через четверть часа вернулся Шаров и увидел такую картину: ткачихи выгребали из стойл навоз, в проходе, опираясь на черен лопаты, стояла Евдокия и громко поучала:

— До самого настила забирайте: нынче оставишь, завтра не уберешь, вот и грязь.

Шаров усмехнулся в усы.

— Командуешь?

— Скажи только—над кем, командовать сумею.

— Ты такая: как родилась, так и в дело годилась... Пойдемте, гражданки, коров покажу.

Шаров повел ткачих вдоль стойл. Отсчитал кряду десяток коров, коротко сказал Масловой:

— За тобой закрепляю... А это—тебе,— обратился он к Хабаровой. Закончив распределение, заключил:—Работайте! Народу у нас мало, мужики на войне...—Хотел еще что-то добавить, но только пожевал губами и, полагая, что сделал все, что от него требовалось, зашагал прочь.

Маслова стояла около стойл смущенная и растерянная. Отныне эти большие покорные животные поручены ее заботам и попечениям. Конечно, оза будет стариться, будет за ними ухаживать, холить их... Но с чего начать, за что взяться? Ткачиха оглянулась, как бы ища поддержки, перехватила подстерегающий взгляд Евдокии и, опасаясь стать сразу же посмешищем, подошла к Зореньке, крупной рыжей симменталке с белым пятном на лбу. Корова доверчиво потянулась к ней, схватила мягкими губами рукав стеганого пиджака.

— Голодная!

Анна Степановна вышла во внутренний загороженный дворик, набрала из стога в охапку соломы, принесла, бросила в ясли. Со всех сторон раздалось мычанье. Ткачиха вновь отпра-

вилась за соломой, на обратном пути столкнулась в дверях с Евдокией.

— Это ты зря,—певуче заговорила доярка,—кормов вобрез, а ты безо время тратишь.

— Коровы есть хотят,—возразила Маслова.

— Мало ли что!—Евдокия повысила голос,—на то и скотина, она весь день жрать готова. Кормить надо с умом.

— Спасибо, буду знать.

Анна Степановна отнесла солому обратно. Вернувшись, увидела: в проходе, окруженные доярками, стоят ее подружки—Поленова и Хабарова.

— Какие болезни,—громко судачила Евдокия,—в бане попаришься, на печку залезешь, никакая хворь не одолеет. Без мужиков, скажи, наши бабочки сохнут. Какое бы это средство придумать, просто беда,—и рассказывала такое, что доярки покатывались со смеху.

— Смех смехом, а без мужиков пропадем,—сказала сухошавая Катерина Тучина, та самая, что сбрасывала солому с фургона,—все нам, бабам, приходится делать. Давеча, думала, нутро оборвется. Спасибо Шаров пришел, подсобил.

— Шаров, он тоже, сапун, а свое дело справит,—подмигнула охально Евдокия.

— Тыфу, бесстыдница,—возмутилась Катерина,—городских бы посовестились!

— А они, городские-то, разве с мужиками не спят?

— Значит, трудно приходится?—спросила Маслова, желая придать разговору иное направление.

— Поживешь, узнаешь,—ответила Евдокия.

— Мы труда не боимся.

— Хвалилась синица море зажечь.

— Ты, вижу, из печеного яйца живого цыпленка высидишь.

Колхозницы незлобливо подсмеивались над горожанками, ткачихи отшучивались. И те и эти сторожко присматривались друг к другу.

К вечеру ткачихи возвращались домой. Холодный северный ветер рвал платья. У плотины со стоном раскачивались голые ветлы. Темная вода в речушке, отражая низко нависшее свинцовое небо, ходила волнами, выплескиваясь с гулким шумом на песчаный берег.

— Та же фабрика,—говорила Анна Степановна, отворачивая лицо от ветра, — только станков нет. Пусть не станки, пусть — коровы, все равно надо действовать по-рабочему.

— Эх, фабрика, вспомнишь не раз, не два,—вздыхнула Поленова.—Бывало, станочек приберешь, досуха вычистишь, блестит, хоть глядись, сменщице и передать не совестно.

— Полюби и это дело, Мария,—наставительно сказала Маслова.—По-моему, куда бы ни закинула судьба—всюду надо трудиться честно.

Ткачихи пришли ровно в семь утра, как привыкли ходить на работу у себя на фабрике. На ферме еще никого не было. Слабо мерцал огонек в фонаре „летучая мышь“. В полумраке еле виднелись силуэты животных. В простенке на охапке соломы мирно спал сторож.

— Ну, что ж, начнем?

Только принялись за чистку стойл, пришла Катерина.

— Вы уже здесь? Хотела пораньше притти, дома—суета, надо сготовить, ребят накормить, четверо их у меня... Рано явились,—говорила она, принимаясь за уборку,—а Евдокия болтала—городские, мол, ленивы, спать горазды.

Ткачихи продолжали чистить стойла.

— По мне все одно,—добродушно делилась своими мыслями Катерина,—что городской, что деревенский народ. Люди—всюду люди.

Постепенно сошлись остальные доярки и тоже принялись за уборку. Явилась Евдокия, встала в проходе, подбоченилась—ражая, толстая.

— Теперь нам, бабоньки, вольготнее будет, славу богу, помощницы нашлись, любо-дорого смотреть.

— Берись-ка за дело, нечего людей поносить,—сказала Катерина.

— Тебя не спрошу, как мне быть, что делать,—резко ответила Евдокия. И отправилась искать лопату. Потом ей понадобилось ведро, и она бранчливо спрашивала:

— Куда ведро девали?

Заметя, что Маслова принялась осторожно чистить скребницей Зореньку, усмехнулась:

— Так ее, дери до костей, все дело.

— Разве это корове во вред?—спросила Маслова.

— Ну и пользы мало.

— Тебе только попадись на язык, сожрешь,—осуждающе сказала Катерина.—Люди знают, что делают.

— Не ты ли научила?

Такие разговоры происходили почти ежедневно. Евдокия, гремя ведрами, сердито ворчала—„принесла нелегкая, не знай откуда, словно наших колхозниц не нашлось бы“. Когда ей возражала Катерина или еще кто-либо из доярок, она запальчиво кричала: „Молчи, тебя только помани, побежишь“. Ткачихи не обращали на нее внимания, молча работали. Но однажды, это было уже неделю спустя, когда Евдокия особенно разворчалась, Маслова не стерпела, бросила с досады на землю метлу, которой подметала пол, гневно сказала:

— Всем ты недовольна, Евдокия,—это не так, это не эдак. Скажи, что мы плохо сделали? Смеялась надо мной, что корову скребницей чистила. Корову, мол, с кобылой спутала. Смеяться можно, я городская, не знаю, как за животными ухаживать, но и мне понятно, что корове в тягость грязью обрастать. Посмотри-ка, твоя вот та пеструшка?.. Срам! Взяла бы скребницу да почистила.

Евдокия стала порывисто поправлять платок на голове, ее губы мелко задрожали:

— Ну, нет, матушка, не на такую напала. Я мужа своего не слушалась, а тебя и подавно. Объявилась, здрастье, командир.

— О, ты шустрая.

— Какая есть, а тебе не дозволю мною помыкать.

— Я и не помыкаю.

— Опять! Ну, чего шумите, чего?—раздался рядом спокойный голос Шарова.

— Куда глядишь, заведующий? — накинута на него Евдокия.— В народе волнение происходит, а он --хоть бы хны. Приехали нивесть откуда и туда же—учат.

— Это ты зря,—вразумительно произнес Шаров,—женщина со всей совестью к нашему делу прилаживается, а ты...

— Обрадовался до смерти... Возьми, прогони Евдокию, есть кем теперь заменить. Свои теперь не нужны.

— Ну, закусила удила.--Шаров махнул рукой, обернулся к Масловой:—Не замай, покричит, сама отойдет.

Маслова подняла метлу, начала снова мести пол. Евдокия долго не могла успокоиться, ворчала себе что-то под нос, искоса поглядывала на ткачиху.

III

Видимо, в дороге Валя простудилась, заболела гриппом. Жаловалась на головную боль, кашляла, по ночам бредила. В бреду плакала, звала мать:

— Не бросай меня, мамочка, боюсь.

Анна Степановна тихонько подходила к постели, тревожно прислушивалась к прерывистому дыханию.

— Бедная сиротка, — шептала она, всматриваясь в лицо девочки. Уже никогда над изголовьем этого ребенка не склонится родная мать, не поправит прядь ее волос, не приласкает. Старая ткачиха испытывала к Вале нежную жалость, чувствовала себя виноватой: не уберегла дорогой, застудила.

Остальные ребята были здоровы, беззаботно резвились на дворе. Они быстро свыклись с деревенской жизнью, иногда только кто-нибудь вспомнит город, спросит: „А почему тут трамваи не ходят?“ „Бабушка, а где здесь фабрика?“ Прибегут со двора, посинелые от холода, с грязными, мокрыми ногами—и сразу:

— Кушаты! Хлеба дай, бабушка.

Анна Степановна только головой качала:

— Пострелята, удержу нет. Простудитесь, заболете, как Валюшка.

Сидя за столом, улетающая за обе щеки вареную картошку, дети безумолку болтали, смеялись, ссорились, случалось, дрались,—словом, вели себя как дети, как всегда, будто ничего не произошло в их жизни, будто нет войны и они не совершили тысячеверстного переезда. Наскоро поев, снова убегали во двор. А Валя лежала в постели, тихая, с бледными впалыми щеками, смотрела пристально на Анну

Степановну, ни о чем не просила, ни на что не жаловалась. Ее большие, слегка увлажненные глаза были печальны и задумчивы. Маслова склонялась над ней, поправляла подушку.

— Что ты? Что, моя капелька?

Валя отводила глаза, молчала.

Анна Степановна подобрала ее в пути на пароходе. В большом вместительном трюме четвертого класса было тесно от пассажиров и наваленного в беспорядке багажа. Люди сидели на сундуках, узлах, чемоданах, спали вповалку, ели, курили, играли в карты и домино, спорили, ругались, рассказывали анекдоты, сообщали последние вести: о бомбежке Москвы, о жестоких боях на подступах к столице. Жизнь шла своим чередом на этом ноевом ковчеге, плывущем туманной дождливой осенью вниз по реке. И вот однажды, когда Маслова, постелив на чемодан газету, разложила ломти калача, колбасу, масло, и вся семья принялась за еду, к ним подошла черноволосая большеглазая девочка. Она молча наблюдала, как дети ели бутерброды, ее глаза жадно провожали каждый кусок.

— Кушать хочешь?—спросила Маслова.

— Хочу,—просто ответила девочка и от смущения густо покраснела.— Меня тетя потеряла, — добавила она, — у нее в чемодане хлеб, а чемодан закрыт, и я ничего не ела.

— Какая тетя? А где чемодан?

— Чемодан там,—Валя показала рукой в другой конец трюма.—А тетя пошла молока купить, а пароход ее не подождет, загудел и пошел, а тетя не вернулась, и я опять осталась одна.— Губы девочки дрогнули.

— А где твоя мама?

Большие глаза девочки наполнились слезами, она всхлипла.

— Она на траве осталась.

И разрыдалась.

Позже, поев, напившись горячего чая, девочка рассказала свою печальную историю, похожую на тысячи других, случившихся с советскими детьми в первые месяцы войны. Из сбивчивого рассказа Вали, — так назвала себя девочка, — Маслова поняла, что у девочки есть отец—командир и мать—Катя. Отец остался дома далеко-далеко с красноармейцами, а они с матерью уехали на автомашине. Ехали, ехали и вдруг началась стрельба. Пассажиры прыгнули с машины, побежали. Они с матерью тоже побежали, мама держала ее за руку, торопила: „Скорее, доченька, скорее“. И вдруг охнула и упала вниз лицом в траву. Валя увидела, как на траве, около белого газового шарфа, которым была повязана голова матери, расплывалось багровое пятно. И шарф и прядь светлых волос, выбившихся из-под шарфа, сразу побурели, стали огненно рыжими. Валу испугала неподвижность матери и это расплывающееся рыжее пятно. „Мама, мама! — закричала она, тормоша мать за плечо.—Встань ,мама, я боюсь“. Мать не отзывалась. Подбежал седой мужчина, схватил Валу за руку: „Еще тебя подобьют“, и вместе с ней побежал в лес. Над полем, над лесом жужжали

немецкие самолеты. Валя слышала рев и грохот, видела, как недалеко от них, среди ржаного поля взметнулся фонтан земли, и что-то сильно и звонко стегнуло по ушам. Она оглянулась, еще громче позвала: „Мама, мама!“ Мать попрежнему лежала неподвижно в пыли у дороги. Ее пунцовый шарф ярко выделялся среди мирной зелени травы. Потом сели в машину. Валя просилась к матери, седой мужчина сказал: „К маме нельзя.“— „Возьмите маму“,—просила Валя.—„Она догонит“,—отвечали ей. Машина мчалась полным ходом, с каждым оборотом колес уносила все дальше и дальше. Валя громко плакала. Все сидящие в машине были подавлены происшедшим. Женщина в голубой ксфточке дала Вале булку и сыру. „Покушай, детка успокойся, не плачь. Хочешь я буду твоей мамой?“—„Не хочу, —ответила Валя,—у меня есть своя мама, чужой не надо“. Приехали в город, сели в поезд, женщина кормила ее сыром и сливочным маслом, утешала, рассказывала пассажирам: „Изверги! Подумайте: едут женщины и дети, а они из пулемета“. Потом сели на пароход и поплыли. Женщина сказала: „Ты, Валя, посиди, покарауль вещи, а я пойду на берег, куплю молока“. Больше ее Валя не видела. Девочка долго караулила чемодан и корзину, захотела кушать и отправилась на поиски. „А чемодан и корзина там“,—закончила рассказ Валя.

— Принесем их сюда,—предложила Сашенька.

Отправились вдвоем. Ни чемодана, ни корзины на месте не оказалось.

Все это вспомнилось Масловой, когда она сидела у изголовья больного ребенка.

— Бедная моя сиротка.

Валя полулежала на постели, подложив высоко за спину подушку.

— Бабушка, — сказала она тихо, — что я попрошу, ты не рассердишься?

— За что на тебя сердиться. Чего ты хочешь?

— Молочка бы, с пенкой, такой желтой, слатенькой.—И тут же, боясь получить отказ, поспешно добавила:—самую капельку, на блюде.

— Хорошо, принесу.

Найти молока в деревне в ту пору оказалось не так-то легко. Коровы перестали доиться, а которые доились, давали кружку-две в день, не больше.

— У председателя попроси, на ферме сто коров, сколько-нибудь набирают,—посоветовала хозяйка.—Как на грех, моя перестала доиться, а то жалко разве.

Маслова вспомнила предупреждение Червякова, сделанное им при первой встрече: „Хлеба дадим, а на молоко не рассчитывайте“.

— Не пойду.

— У Евдокии корова поздно отелилась, сходила бы...

Маслова колебалась: пойти к Евдокии—на неприятность нарваться!

„А почему бы и не пойти, ведь не даром, не из милости. Не все ли равно кому продать“.

Евдокия сидела за столом, вязала шерстяной чулок. Увидя Маслову, оторвалась от вязанья, да так и застыла, держа навесу блестящие спицы. Она была явно удивлена приходом ткачихи.

— К тебе, Евдокия, с просьбой.

— Садись, гостьей будешь,—сдержанно пригласила доярка, настороженно всматриваясь в лицо Масловой.

— Какое молоко,—протянула хозяйка, узнав цель прихода ткачихи,—мало дает корова, совсем мало; и не продаю: зачем мне деньги, куда их девать?—Окинула Анну Степановну взглядом, на миг задержалась на ее резиновых калошах и добавила певуче,—не надо денег, из одежды, из обуви разве что... Обновилась мы.

— Чего бы ты хотела?

Евдокия еще раз взглянула на ноги ткачихи.

— Калоши, кажется, мало ношенные.

— Сколько дашь?

— Бадейку дам.

— За новые калоши!—удивилась Маслова.—Свое цените, а чужое—ни во что.

— Нет, и не надо, не я тебя, ты просишь.

— Я думала у тебя совесть есть,—укоризненно сказала Маслова,—а ты... ты мертвого разумеешь.

Евдокия всем туловищем повернулась к ткачихе, клубок упал с колен, разматываясь, покатился по полу.

— Мое добро, сколько хочу, столько и прошу. А не угодно—вот бог, а вот порог. Пришла ко мне в избу, да еще охальничает.

— Мародерка!—не выдержала Маслова,—умирать все равно будешь.

И хлопнула дверью.

Кружку молока для больной дала соседка—тетка Наталья.

— Квартирант вот донимает, просит, а корова совсем отбивает... Не надо, ничего не надо,—отстранила она руку Масловой, пытавшуюся всунуть в ее ладонь деньги:—на твою пятерку шубы не сошьешь, а грех на душу примешь. Пусть кушает, поправляется.

Разговор этот происходил уже затемно, в избе у тетки Натальи. За столом сидели ее сын—молодой, черноволосый парень Максим, тракторист, только что вернувшийся с поля, где пахал зябь, и квартирант—Петр Петрович Перепелица, тот самый эвакуированный из Молдавии юрист, о котором рассказывал ткачихам Червяков. На нем был полувоенного покроя довольно заношенный френч, с огромными накладными карманами, на ногах—ботинки с кожаными гетрами. На носу—пенсне в золотой оправе, волосы зачесаны бобриком. Перепелица читал газету „Правда“; Максим, подперев щеку рукой, слушал: враг рвался к Москве, бои шли уже в нескольких десятках километров от русской столицы...

Маслова задержалась и, стоя у порога с кружкой молока в руке, молча слушала, забыв про больную Валию, про ребят, про дом. Она испытывала такое чувство, как если бы на ее глазах бился в агонии близкий человек. И горестно, и больно, и надо облегчить страдания, вырвать из рук смерти любимого, и не знаешь—что делать, как помочь. Будто заноза в сердце вонзилась, не вытащишь.

„Неужто немцы Москву возьмут?“

Ей вспомнилось, как за год до войны, взяв отпуск, ездила она с мужем в Москву. В немом изумлении спустились они на эскалаторе впервые в метро и вниз, глубоко под землей, очутились в ярко освещенном зале, с блестящим каменным полом, белыми, словно умытыми, колоннами и широкими, удобными скамьями вдоль стен. Сели в поезд — новое чудодейство. Они мчались по темному туннелю, в грохоте и шуме преодолевая пространство, и Маслова представить себе не могла, что над туннелем, над поездом, над ними, высоко, высоко стоят дома, ходят люди, по улицам проносятся трамваи и троллейбусы, живет, как обычно, огромный город. При выходе из метро муж купил в киоске конфет и пачку печенья.

— Привезу домой, ребятам покажу: под землей куплены!

Анна Степановна оглянулась на свод туннеля, на бесконечный людской поток, заполнивший пролеты эскалатора, тихо спросила:

— А ну-ка провалится?

Муж усмехнулся:

— Внуки, правнуки пользоваться будут. Навеки заложено.

И вот эти залы, колонны, самодвижущиеся лестницы, туннели, все, что так любовно и старательно создавалось нашими руками, немцу отдать?! Чтобы он всем этим пользовался?!

„Нет, нет, не может этого быть, не должно!..“

Перепелица отложил газету, снял пенснэ, медленно протер его полый френча.

— С потерей Москвы Россия еще не потеряна. Так, кажется, Кутузов сказал? А все-таки нехорошо, очень нехорошо.

— Чего ж хорошего, — отозвался Максим, — Россия без Москвы — это и представить трудно.

— Москва, боже мой, Москва!—только и могла сказать Маслова.

— Ай отдали?—спросила, не разобравшись, тетка Наталья.

— Болтай больше!—сердито прикрикнул на мать Максим.— Одно слово—бабы.

— Немцы далеко от Москвы?—спросила Маслова.

— Немцы?—Перепелица переложил газету на другое место, снял пенснэ, опять протер его, хотя в этом надобности не было.— Бои идут на Можайском и Волоколамском направлениях...

Анна Степановна слушала с горьким чувством: к личной беде — болезни Вали — прибавилась большая общая беда — Москва в опасности. И не скажешь, что горше, что тяжелее.

К вечеру подморозило, и мелководную степную речушку затянуло непрочной кромкой льда. Стадо гусей вышло на лед. Старый гусак, осторожно переступая красными лапами, шел впереди, поскользнулся, упал. Гуси тревожно загоготали. Гусак сердито крикнул, поднялся и вдруг захлопал крыльями и, низко стелясь надо льдом, тяжело и неуклюже полетел к берегу. За ним с пронзительным гоготом понеслось все стадо... Затянувшаяся осень, с ее дождями и морозами, оттепелями и снегопадами, с непролазной грязью и туманами,— длинная русская осень кончилась. Наступила зима 1941 года.

Закончив работу, накормив и напоив коров, доярки, в ожидании производственного совещания, собрались в молочной. Было душно от жарко натопленной печки, шумно и крикливо, как всегда, когда собираются вместе несколько женщин. О чем только не говорили! О том, что на фронте ранило Сеньку— тракториста, сына огородного бригадира, а муж председателя сельского совета Мочаловой, бывший завхоз, получил медаль за храбрость. А подручная механика с мельницы Варька спуталась с эмтеесовским слесарем, а тот женат, ребят трое, и жена грозит Варьку зарезать.

— Мука на базаре пятьсот рублей пуд,— рассказывала Евдокия, ездившая накануне в город,— байковое одеяло на пуд сеянки выменяли, ей богу, ей богу, рядом со мной!— зачастила она, опасаясь, что ей не поверят.— Зеленое с белыми горошинами, глаз не оторвешь. Одежда, обувь — нипочем. Навезли из Москвы, весь базар завалили,— Евдокия покосилась на Маслову, сидящую у стола: дескать, не очень зазнавайся со своими калошами, — народу в город понаехало — туча! Сказывают, никого в Москве не осталось, пустая—и горит.

— А войско?— спросила Ольга, молодая колхозница, только осенью проводившая мужа на фронт.

— Все в лесу за Москвой полегли.— Евдокия со свистом втянула воздух, готовясь сразить слушательниц страшной новостью.— Сказывают, немец пустил на наших огонь, да из пулеметов — как начал...

Маслова не выдержала:

— Врешь, Евдокия, все врешь! И кто научил тебя такую панику разводить! Не сама же придумала.

— Ну, скажи,— возмутилась Евдокия,— слова не даст вымолвить.

— Не болтай, чего не надо.

— Что будем делать, — горестно вздохнула Катерина.— Куда пойдешь, куда побежишь с малыми ребятами? Он, чего доброго, и сюда придет.

— Придет,— убежденно подтвердила Евдокия,— у него сила, машины, ничем не удержишь.

— Перестань, Евдокия!— крикнула зло Маслова,— не слушайте ее, женщины, брешет все. Не отдали наши Москву, не отдадут, не могут отдать!— Она задохнулась от охватившего

ее внезапного волнения и заговорила почти шопотом, страстно, убежденно. И это подействовало на слушательниц сильнее слов.— Там, под Москвой,—говорила Маслова,—моих пять сынов, муж, сноха старшая,—семеро. Вы—сами матери, любите своих детей, добра им желаете. Поймите, каково мне слушать брехню эту! Выходит, и мой все семеро там полегли, так что ли, Евдокия? А вот врешь! Живы они, мои орлы, живы и бьются с врагом насмерть. Вот оно письмо, вот... сын младшенький, Витенька, прислал.— Она порывисто достала из внутреннего кармана пальто аккуратно свернутый носовой платок, поспешно вынула вчетверо сложенный клочок бумаги, исписанный карандашом, развернула,— вот что он пишет, слушайте.— И в воцарившейся тишине зазвучал ее вновь окрепший голос:

...„ты не бойся, родная, и всем скажи, пусть спокойно живут за Красной Армией и работают. К Москве немца не пустим. Он уже слюни распустил, ну, мы ему харю умоем. Каждый из нас слово себе дал — убить двух немцев, не меньше, а мы бьем десятками. И не отступим, скорее все погибнем. Москвы Гитлеру не видеть, как собаке спины своей! Береги Ксашу...“

— Слыхали? Стоит за Москву вся наша Красная Армия. В Москве Сталин, разве ее отдадут! И ты не смей хоронить прежде времени моих сынов,— ненавистно крикнула она Евдокии,— не смей! Я их встречу еще... — И такая лютость была в материнских глазах,— на что Евдокия баба-чорт, оторопела.

— По мне что, пусть живут,— смущенно пробормотала она.

Поднялся шум, сразу заговорило несколько человек. Никто и не заметил, как вошел Червяков в сопровождении Шарова. Они стояли в дверях и недоумевая смотрели на спорящих.

— Тю, грачиное гнездо! — крикнул Червяков. — Бабы, бабы,— пытался унять он,— товарищи женщины, гражданочки... Тьфу! Крапивой вас высекли что ли. Сладу никакого. Кончай, Ольга! Евдокия, сядь! Катерина, ну хоть ты образумься. Базар!

С трудом Червяков водворил тишину, сел за столик у окна, рядом с ним примостился Шаров.

— Открывай, заведующий, совещание! Поговорить надо кое о чем. Как отел будете проводить, о кормах, о навозе... Что молчишь, Яков Власыч?

Шаров откашлялся, неуклюже поерзал на стуле, сказал басом:

— Председатель объяснил, как, значит, о навозе говорить надо. Кто желает?

Наступило неловкое молчание. Доярки-колхозницы переглядывались, шушукались; сидели неподвижно ткачихи.

— Вот так всегда,— усмехнулся Червяков,— болтают — удержу нет, а о деле говорить — клещами слова не вытасишь. Ну, храбрые!.. Может, из вас кто? — обратился он к Масловой.

— Мы сначала послушаем.

— Давай я скажу,— поднялась Катерина и привычно поправила платок. Была она худа, плоскогруда, остро выпирали плечи, руки тонкие, усталое, худое лицо.

„Четверо их у меня“,—вспомнилось Масловой, и она ожидала, что Катерина начнет жаловаться на тяжелую жизнь. Но Катерина заговорила о другом.

— Много у нас непорядка, прямо скажу. Приехали к нам городские женщины, даже стыдно перед ними, могут подумать— вот какие колхозницы неаккуратные. А вспомните, как до войны дело шло! Сейчас будто подменили некоторых. Думают, война, так можно, значит, все кое-как делать. Нет, женщины, напрасна такая думка. Стараться надо, чтобы хозяйство наше не в разор, а в укрепление шло, а то ведь совсем пропадем.

— Точно,— поддержал ее Червяков,— именно на укреплении.

— А у нас что?— продолжала Катерина.— Возьмем водопой. Корова веселая, когда поест да попьет вволю. А вчера большая Рыжуха, из твоего десятка, Ольга, не дала попить черной, рогами отогнала. А когда черная добралась до колоды, всех обратно погнала. Так и ушла Чернушка не пивши.

— Черед им установить?— спросила Ольга.

— А хотя бы и так. Коровы стельные, на дворе скользко, упадет, скинет, вот тебе и удой.

— Твой какой совет?— спросил Червяков.— Воду сюда таскать?

— Пусть сама по желобам течет. В саду их много валяется, починить только надо.

— Хм,—неопределенно отозвался Червяков,—надо подумать, подумать надо,—повторил он. — Слышишь, Шаров.

— Еще скажу про телятник,— продолжала Катерина,— скоро отел. А мы не готовимся к нему. Телятник где? Старый развалился, новый поставить не осилим. Куда будем ставить телят?

— Это мы уже обдумали,— вставил Червяков,— старую баню приспособим.

— Долго собираетесь.

— Не все сразу... Еще кто?

Заговорила Евдокия.

— Не знай, не знай, что это за дружба повелась у Катерины с городскими,— начала она язвительно:— друг на дружку глядят, не наглядятся. Катерина Маслову хвалит, та — Катерину начнет хвалить.

— И буду хвалить,— с места отозвалась Маслова.

— Каждая лягушка знай свое болото. Фабрика—одно, колхоз—другое.

— Ты это к чему?— настороженно спросил Червяков.

— А вот к чему,— резко ответила Евдокия,— жили мы тут сами по себе, вкось ли, вкривь ли шло дело—мы только и знали. Приехали они, и пошел у нас коловорот. Катерина на Ольгу наговорила, на меня стала кричать, да и тебя, председатель, срмит. Да что же это такое! В собственном доме да терпеть обиду! Вчера мне сия гражданка,— пальцем показала на Маслову,— так прямо и заявила: за коровами плохо ухаживаешь.

— А это неправда? Коров бросила, на базар поехала.

— Дожили, гожехонько!—вскипела Евдокия,—на базар уж ездить нельзя.

— Никого не предупредила, коровы с утра стояли некормленные, непоеные. Пришлось нам с Катериной ими заниматься. Хорошо ты поступила?

— На базар едешь, сказываться надо,— заметил Шаров.

— Да что же это такое, бабоньки?— заголосила Евдокия,— и на базар не велят ездить.

— О деле говори, Евдокия, про ферму, а то базар, базар...— остановил ее Червяков.

— Ты меня за подол не держи,— крикнула ему Евдокия,— не держи, а то, ей-богу, я не в себе. Душа не сносит, не могу я такого лиходейства терпеть! От кого бы слышать попреки...

— Еще что скажешь?— сдержанно спросил Червяков.

— Я много чего скажу, я такое скажу... А ну вас всех,— оборвала себя Евдокия,— не желаю говорить,— и отвернулась. И сидела с таким воинственным видом, словно одержала крупную победу.

— Потухла?—удивился Червяков.— Скоро... Еще кто?

— Разрешите мне.— Маслова поднялась. Она уже знала всех доярок, знала характер каждой, их нужду и заботу, их думки. Плачет втихомолку Ольга, тоскует по муже, страшится родов. Жаловалась как-то: тяжело, непривычно в одиночестве... Трудно и многодетной Катерине, но эта крепится. Иногда разве только словом обмолвится или вздохнет прерывисто. Полюбила ткачиха эту тихую, скромную колхозницу и всегда находила для нее приветливое слово. А другие! Та мужа, эти отца проводили на фронт, остались одни. Кто попечалется вместе с ними? Хотелось Масловой сказать женщинам ласковые, душевные слова, чтобы не тосковали, не кручинились; она сама проводила на войну семерых, знает горе разлуки. Но боялась оказаться непонятой: „Евдокия первая засмеет“. И, слегка сдвинув брови, заговорила сухо:

— У нас на фабрике был такой порядок...

— Опять фабрика,—фыркнула еще не успокоившаяся Евдокия.

— Да, оляты! С нас с каждой спрашивали строго за станок, за пряжу, за инструмент, тряпки обтирочные и то по весу выдавали. А тут лопаты, ведра, дойницы валяются где попало. Никто за них не отвечает.

Червяков строго посмотрел на Шарова: „Что это у тебя такое?“. Тот только сопнул.

— Прилежности к работе не у всех замечаю. Странно мне даже говорить, к соревнованию у вас женщины не охочи, товарищ председатель. По фабрике знаю, как оно людей разжигает, какая к работе любовь проявляется, как друг перед дружкой начинают стараться. Хочу поэтому на соревнование Евдокию вызвать.

— Что-о?— удивленно протянула Евдокия.— Меня?

— Да, тебя. Давай потягаемся, кто лучше коров раздоит, кто больше молока за сезон получит.

Червяков лукаво посмотрел на Маслова.

— Смотри, Степановна, не подведись: человек ты новый, а Евдокия уже давно на этом месте.

— Я отстану—стыдно не будет, а если Евдокия отстанет...

— Евдокия не отстанет,—запальчиво закричала та,—она еще себя покажет, ты ее еще не знаешь.

— Значит, деремся!.. Есть среди вас женщины старательные, душой болеют за ферму, коровушек голубят. Вот Катерина, заслушалась я ее. Не о себе речь вела, о колхозе, а я знаю, не легко ей живется.

Бледное лицо Катерины вспыхнуло румянцем:

— Что ты, что ты!

— А Евдокия удивляет, точно бес в ней сидит. Не права, а спорит. Перед собранием про Москву небылицы плела, сейчас...

— Бабоньки, милые,—всплеснула руками Евдокия,—да что же это такое! Сидим, народом слушаем, терпим напраслину.

— Не трожь,—остановил ее Шаров,—пускай все пояснит.

Евдокия вскочила.

— Не могу. Ну, просто никакого терпения. Поносит и поносит, а председатель и заведующий их руку держат.

— Сядь! — с несвойственной резкостью рявкнул на нее Шаров, и так свирепо поглядел, что она только охнула.

— Евдокия боится, как бы мы хлеб колхозный не поели. Появились из города дармеедки, обедают. Слыхала я такой разговор и от других, как сюда приехала. Напрасно беспокоитесь, вашего не тронем. Вот этими руками,—Анна Степановна вытянула кисти рук,—за всю жизнь столько полотна наткала, что им можно бы от Москвы до Сибири дорогу выстлать. Мир одевала, тебя, Евдокия, наряжала, а ты меня же теперь...—она судорожно вздохнула.—И здесь дармеедкой не буду.

— Да никто же этого не говорит, с чего взяла, — приторно изумился Червяков.

Анна Степановна мельком взглянула на председателя, еле заметная усмешка тронула ее губы.

— Приехали мы сюда не по своей воле,—продолжала Маслова,—а раз приехали,—давайте жить в ладу. Дело-то у нас одно, государство одно, чего делить?

Она перевела дыханье, словно с мыслями собралась:

— Вы живете дома, имеете хозяйство, при вас дети. А сколько народа разорилось, сколько сирот осталось, сколько матерей пропавших детей оплакивают. Оглянитесь вокруг себя, поглядите, что на свете делается. Немцы ведь под Москвой. Под Москвой!—воскликнула она,—вздорить ли в такое время.. Женщины, родные мои!..

И заговорила о том, о чем собиралась вначале. Ее простая, идущая от сердца речь, тронула доярок. Они смотрели на нее затеплившимися глазами. Даже Евдокия, опустив голову, засопела.

Анна Степановна вскинула глаза, посмотрела поверх очков на сидящих ткачих и, глубоко вздохнув, продолжала чтение. Читала она, не задерживаясь на запятых, одним духом. Потом, дойдя до точки, со свистом вбирала воздух и снова начинала громко, выделяя первое слово. И опять, точно на салазках под гору, катилась безостановочно по страницам брошюры, постепенно снижая голос, до очередного глубокого вздоха. Иногда фраза обрывалась на полуслове, чтобы затем, после вздоха, стремительно прилепиться к следующей и утонуть в журчащем словесном потоке, усыпляющем слушательниц.

Ткачихи сидели в разных позах. Васса Хабарова облокотилась на стол и, не отрывая глаз, смотрела на Маслову. Мария Поленова, откинувшись на спинку стула, куталась в шаль; ее лихорадило, видимо простудилась на ферме. Ксаша штопала детские чулки, низко склонившись над работой. На столе горела семилинейная лампа, освещающая только сидящих у стола; остальная часть избы тонула в полумраке.

„Корм рекомендуется давать разнообразный, перемежая грубые с сочными (тут последовал шумный вздох), лучше небольшими дачками, но чаще. Установлено, например, что если утром“...

Анна Степановна перевернула страницу, обвела ткачих строгим взглядом:

— Понятно? Или, может, побеседуем?

Брошюру, по которой велись занятия, Анна Степановна достала в земельном отделе во время недавней поездки в город. Покончив на базаре с покупками, держа в одной руке зимбиль, в другой—сеточку, она зашла в земельный отдел, разыскала старшего зоотехника, села напротив на стул и с таким видом, точно сообщала радостную весть, сказала:

— Слушай, товарищ старший: дай, пожалуйста совет, что делать нам, чтобы от коров молока побольше получать.

Зоотехник был занят составлением для райисполкома очередной—третьей по счету за этот месяц—докладной записки о состоянии поголовья в районе. Его злило, что вот опять засадили за скучную канцелярскую работу, а потом будут обвинять в оторванности от колхозов и не пошлют весной на областное совещание передовиков-животноводов („факт, факт не пошлют!“). Он был в плохом настроении и поэтому неодобрительно покосился на сеточку и зимбиль.

— Мне сейчас некогда, как-нибудь в другой раз...

— Дорогой мой,—Маслова положила сеточку с луком на стол,—я в двенадцати километрах живу...

— А я сейчас не могу, видите занят... Уберите сетку,—добавил он раздражительно.

— Вот ты какой,—больше удивилась, чем рассердилась Маслова и встала,—сможешь, дорогой, сможешь!—и направилась в кабинет заведующего земельным отделом. Заведующий тоже

был занят, но Маслова заставила его выслушать свой рассказ: как они, ткачихи, приехали в село, как поступили на ферму и как хотелось бы им стать образцовыми доярками. Анне Степановне выдали кипу брошюр по животноводству, и зоотехник, отложив в сторону бумаги, часа полтора беседовал с нею. Расстались они по-хорошему, зоотехник написал записку колхозному агроному, поручая ему заняться с ткачихами, и обещал как-нибудь навестись.

Агроном Николенко, совсем еще молодой, худенький паренек, охотно взялся помочь ткачихам, организовал кружок, прочел даже лекцию о разнице между интенсивным и экстенсивным животноводством, обещал продолжить занятия и в следующий раз рассказать о свойствах кормов. Но это следующее занятие так и не состоялось. Агронома то вызывали в район на совешание, посвященное подготовке к весеннему севу, то отвлекали другие дела и заботы. При встречах с Масловой он сожалеюще говорил:

— Ну, понимаете, вот...—и проводил тыльной стороной ладони себе по горлу,—обедать некогда.

Ткачихи решили заниматься самостоятельно. Николенко охотно, даже чрезвычайно охотно, дал совет, какие брошюры следует почитать, на что обратить внимание:

— Что будет непонятно, приходите, объясню.

Не все, что писалось в брошюре, было понятно. Когда применять рацион—всегда или только после отела? А чем кормить стельную корову в последние недели? И старые потомственные ткачихи, никогда не бывавшие раньше в хлеву, всю жизнь проработавшие за ткацкими станками, спорили о способе раздоя коров, о том, что охотнее поедается животными: силос или распаренная кипятком и посыпанная отрубями сечка?

— Тыкву полезно давать,—заявила Васса.

— А просо?

— От проса выкидыши случаются.

— Откуда ты знаешь?

— Читала.

Нередко они засиживались до поздна и расходились, разгоряченные спором, довольные тем, что вечер не прошел зря. Их лексикон обогатился новыми словами и выражениями: „рацион“, „норма кормления“, „жирность молока“. Они произносили их с явным удовольствием, щеголяя одна перед другой приобретенными знаниями.

На ферме стало чище. Помещение каждое утро проветривалось, коров доярки чистили щетками и скребницами, кормили и поили в строго определенное время. Опыт других ферм, описанный в брошюрах, ткачихи добросовестно переносили на свою. Никакие доводы и убеждения других доярок не могли, казалось, поколебать их решимости. Брошюры, полученные в земельном отделе, служили щитом и оружием в возникающих спорах и недоразумениях.

— В книжках так сказано,—решительно заявляла Анна Степановна,—поумнее нас с тобой люди писали.

Постепенно ткачихи усвоили всю нехитрую премудрость ухода за коровами. Они приобрели авторитет и даже стали влиять на житейские дела. К ним по самым различным вопросам обращались за советом колхозницы: одной хотелось навестить раненого мужа, лежащего в госпитале в Тамбове, другая советовалась, какой материал купить дочке на одеяло, немолодая вдова таинственно шушукалась стоит ли выходить замуж за колхозного сторожа: стар, а одной тоже нехорошо. Маслова выслушивала, высказывала свое мнение — как бы она сама поступила. Евдокия иногда пыталась по привычке съязвить, поднять на смех ткачих, но встречала всеобщее осуждение.

* * *

Заседание правления колхоза затянулось. Сначала докладывал Червяков:

— Поработали мы в нынешнем году не плохо, особенно женщины, а все же не так, как полагается в военное время. Подсолнух у нас не убран? Не убран. Полсотни га еще не срезано. Позор! Молотьбу не закончили, двести га еще в ометах. Ведь это наш хлеб, на трудодни его выдавать, а он—в соломе. Опять скажу про зябь. Упустили время, осенью не вспахали, нам самим весной будет трудно. Никуда, товарищи, не годится, никуда!

Он облокотился руками на стол и внушительно и долго говорил о том, какие следует организовать работы.

Потом колхозный агроном Николенко пространно излагал наметки плана весенне-полевых работ. Он увлекся и с жаром говорил о семенах и тягле, об удобрениях и ремонте плугов, о поломанных телегах, валяющихся без колес у кузницы, и составе бригад.

— Нынешняя весна будет особенная весна, товарищи. Где наши пахари, косцы, наши золотые руки? Там, на фронте. Народу стало меньше, а план сева прибавляют, да, прибавляют,—повторил он.—И тут встает вопрос—это люди. Где их взять? Предлагаю использовать эвакуированных: мы поддержали их в трудную минуту, пусть и они нам помогут. Вот товарищ Маслова,—он кивнул в сторону Анны Степановны,—ничего не скажешь худого, взялась за дело, на ферме работает. И другие помогут. Учить их надо: пахать, сеять, косить.

— Университет открыть,—шутливо вставил Червяков.

— Не университет, Иван Филиппович, а курсы открыть придется. И в первую очередь для эвакуированных.

Маслова сидела в сторонке у печки, слушала. Днем на улице встретился Червяков:

— Привыкаешь к новому месту? У нас, конечно, не то что в городе, а осмотришься—ничего, жить можно. Оглядишься, может, с нами жить останешься.

— У меня в жизни своя дорога.

— Так, так... Нынче у нас заседание правления, заходи, послушаешь. С артельным хозяйством не знакома? Большое дело.

Слушая агронома, Маслова поразились, насколько действительно сложно, велико и разнообразно это артельное хозяйство. Тут засеваются тысячи гектаров пшеницы и проса, суданки и подсолнуха, табака и овощей; разводятся овцы и куры, свиньи и кролики, строятся коровники, погреба и амбары, содержатся лошади и рабочие быки, имеется фруктовый сад и пасека. И всем этим хозяйством разумно и рачительно управляют вот эти бородатые деды и простые деревенские женщины.

Анна Степановна посматривала на агронома, худенького паренька, чем-то напоминающего ее Виктора. Агроном казался ей умным, начитанным человеком и все, что он говорил, представлялось непогрешимо истинным. Но после него выступали бригадиры и рядовые колхозники, критиковали его план, и она начинала верить им, находя, что правы во всем они, а не прав агроном.

Пасечник, хилый, кашляющий старик, нахмутив густые брови, сердито сетовал:

— Пчелам меду для подкормки не оставили, это же страшное безобразие!

Бригадиры полеводческих бригад спорили о полях севооборота, о каких-то клегках за номерами 2 и 4, отводимых под посевы пшеницы и бахчи. Табаковод доказывал, что намечаемый под посадку табака участок земли не пригоден для этой цели.

— Там песок, там картошку самый раз сажать, а вы—табак.

Агроном вытирал носовым платком потный лоб, пил из кружки холодную воду и осипшим голосом возражал, спорил, кое с чем соглашался, торопливо делал записи в тетрадь.

Заседание кончилось к полуночи. Народ разошелся, в правлении задержалось несколько человек. Червяков сидел за столом в позе уставшего человека и, полузакрыв глаза, слушал бригадира первой бригады Якова Слепова, высокого нескладного парня, с непомерно длинной шеей, оглохшего от контузии в боях против белофиннов. Как все глухие, Яков говорил тихо, пытливо смотря на собеседника, опасаясь, что тот не поймет его.

Масловой не хотелось уходить с тепла на мороз, ей понравилось это деловое совещание людей, являющихся одновременно и хозяевами-распорядителями и работниками-исполнителями в своем обширном хозяйстве. Это совещание не походило на заседание фабкома или собрание актива работниц, и все же пахло чем-то родным, близким, будто после разлуки снова встретились она в этой крестьянской избе со своими знакомыми.

Агроном встал, потянулся так, что хрустнули суставы, легкой походкой подошел к рупору репродуктора.

— Послушаем Москву.

Женщина низким контральто пела частушки, это было близко и знакомо. Маслова слушала, улыбаясь. Потом баритон запел о любви, о встречах в саду, и Масловой стало досадно: в такое ли время думать о своем личном счастьеце, когда ру-

шатся государства, гибнут народы, и вся земля стонет, кровоточит, полыхает в огне пожарищ.

— Завыл,—неодобрительно сказала ткачиха и поднялась, собираясь уходить. Но пение неожиданно закончилось, из репродуктора послышался знакомый голос диктора:

— Внимание, внимание! Слушайте сообщение Советского информбюро...

Диктор сделал паузу и отдельно сказал:—В последний час...

И в приподнятом тоне произнес знаменитую фразу, заставившую радостно дрогнуть миллионы русских сердец:

— Провал немецкого окружения и взятия Москвы.

В комнате наступила мгновенно тишина. Яков Слепов что-то хотел сказать, Червяков зашикал, замахал на него руками, глазами показал на репродуктор. Маслова как стояла с поднятыми руками, завязывая концы головного платка, так и застыла. Лучше самой чудесной музыки звучал хриловатый, слегка надтреснутый голос диктора:

— ...Шестого декабря тысяча девятьсот сорок первого года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок...

Червяков впился глазами в репродуктор, его лицо отражало и волнение, и радость, и глубокую думу; агроном шурился, подмигивал, прищелкивал языком, не в силах сдержать рвущуюся наружу радость. Маслова не могла стоять, опустилась на стул, чувствуя, как гнетущая ее все эти дни тяжесть таяла, расплавлялась в горячем потоке радости.

„Вот оно, вот настоящее, чего мы так хотели и терпеливо ждали!“

Она смотрела на сидящих в комнате, высоко подняв голову.

„Я же говорила, не отдадут Москвы, не могут отдать! По-моему вышло!“

А диктор перечислял освобожденные нашими войсками города, называл цифры взятых в плен солдат и офицеров, количество захваченных немецких самолетов, танков, орудий...

Червяков согласно кивал головой, агроном прищелкивал пальцами, у Масловой по щекам медленно катились две слезинки, она не заметила их.

Диктор умолк. Еще мгновенье в комнате стояла тишина. Потом тишина прорвалась восторженными, бурными возгласами:

— Вот это победа! — кричал агроном и хлопнул кулаком по своей же ладони.—Москва! Ого, возьми-ка ее! — он радостно, громко рассмеялся.

— Попятился немец, — сказал Червяков. — Врешь, заставим пятиться!

— В бинокль московские улицы разглядывали, — не унимался агроном, — а теперь...

— А теперь — на - ка, выкуси! — выразительно произнес табаковод.

— Теперь немцу долго не выдержать, факт! — кричал агроном. — Два-три месяца — и войне конец.

— Больно прыток,—сдержанно возразил Червяков.—У него еще много силы, не скоро хребет сломаешь.

— Но победа, какая победа!—не слушал его агроном.

Возвращалась Маслова домой уже глубокой ночью. Высоко в небе, заливая землю молочным светом, стояла круглая луна. Было морозно и тихо. И эта тишина, и морозный чистый воздух, и разлитый вокруг мир и покой входили в душу, волновали, томительно щемили сердце. Хотелось встать на колени, припасть разгоряченным лбом к холодному снегу и от всего сердца поблагодарить воинов Красной Армии за их тяжелый ратный труд, за эти мир и тишину...

V

У мужчин заиндевели усы и брови, у женщин поседели выбившиеся из-под платков волосы. Никого не узнать. 12-летний подросток Мишка Звягинцев, отвозивший от машины на лошади мякину, походил на елочного деда-мороза. Пожилой задавальщик Иван Астахов, со своей широкой белой бородой и длинными ледяными сосульками на усах, вызывал в памяти сказочного водяного.

Было студено. Порою поземка взбивала на улицах снежные космы и завивала их белыми кудрями. Забраться бы в такую погоду на теплую лежанку да и задремать под глухое урчанье ветра. А люди пришли на широкий двор, взялись за вилы, начали работать. Одни сбрасывали со скирда тяжелые снопы, другие задавали их в приемный люк комбайна, третьи, черпая ведрами намолоченное зерно, относили его в амбар. Эти отгребали от машины солому, те убирали в сторону мякину.

Над многоголосым шумом, выкриками возчиков, смехом и шутками девушек властвовал ровный гул комбайнового мотора. Он работал ритмично, с короткими, еле различимыми перебойями, как здоровое человеческое сердце. За комбайном наблюдал Максим. На нем поверх теплого пиджака натянута синяя комбинезон, на голове черная суконная кепка, на ногах сапоги. Он все время был в движении: то регулировал подачу горячего, проверял соломотряс, то перегнувшись всем туловищем, забирался с головой в люк, очищал барабан. Наладит, оботрет руки о солому и встанет в непринужденную позу, оставив ногу—высокий, статный черноволосый. Не у одной девушки билось тревожно сердце при взгляде на такого парня.

Молотили среди села, на дворе, между амбарами и конюшней первой бригады. Комбайн закатали от ветра под навес, туда же сваливали снопы пшеницы, подвозимые с поля на санях. Снопы возили подростки и женщины, среди них были Аграфена и Сашенька.

Утром, на рассвете, собираясь в степь за снопами, тетка Аграфена предложила Сашеньке поехать с нею. Сашенька даже подпрыгнула от восторга.

— Едем, едем!

И тут же начала одеваться, еле уговорили позавтракать. Поездка в степь представлялась ей чем-то вроде тех лыжных

прогулок, какие совершала она с подругами у себя дома в воскресные дни.

Наскоро проглотив завтрак — вареную картошку, облитую растопленным салом, Сашенька, тепло одетая, стояла среди избы и нетерпеливо ожидала, когда закончат сборы Аграфена.

— Кажется, уже выехали. Скорее!

Она была в том чудесном возрасте, когда представляется, что ни происходит в жизни — все хорошо, все совершается для того, чтобы доставить людям удовольствие, а горе и печаль люди сами выдумали. События последних двух месяцев Сашенька воспринимала с присущей молодости беззаботностью. В ее жизни произошла большая перемена, ну что же! — это увлекательно. Еще много неизведанного и заманчивого сулит ей жизнь, она готова все испытать, все разузнать. Сколько было встреч, событий, наблюдений! Сколько нового, интересного увидела она в пути! И то, что сердило, волновало Анну Степановну, вызывало досаду и тревогу, для Сашеньки было скоропроходящим, незначительным эпизодом, над которым стоило только пошеяться.

В дороге, при пересадке, Сашенька заболталась с каким-то лейтенантом, не заметила, в какой вагон села Маслово с детьми, находу вскочила в поезд и только на третьем пролете присоединилась к семье. Анна Степановна накинулась на нее:

— С ума сошла! Нашла время для шашней. Вот так, по глупости, и пропадает народ.

А Сашенька, смеясь, рассказывала, как лейтенант угощал ее яблоками и конфетами, как приглашал ехать с ним в часть.

И теперь, как ни отговаривала ее Анна Степановна, ворча на Аграфену за выдумку, как ни звала с собой на ферму, Сашенька стояла на своем:

— Надо же мне начинать работать. На ферме и без меня народу много. Ты скоро, тетка Аграфена?

Всю дорогу до гумна Сашенька болтала, рассказывая о прежней жизни.

— Жалко? — спросила Аграфена.

— Не очень, — не задумываясь, ответила девушка, — то-есть, конечно, — быстро поправилась она, — жалко братьев, отца, дом... А на одном месте жить — надоело, чего увидишь.

— Успеешь, наглядишься, какие твои годы.

В заснеженном поле Сашенька накладывала на сани тяжелые смерзшиеся снопы, смеясь, стряхивала с себя снег, восхищалась и тишиной зимнего утра, и белой степной далью, сливающейся далеко-далеко с таким же белым небом.

— Тетка Аграфена, гляди, на снегу будто зыбь, ишь какие гребешки.

— После бурана, — пояснила Аграфена.

— А снег блестит, и солнца нет, а блестит. Ну точно глазурь. Ах, до чего же красиво!

Аграфена безучастно смотрела на степь, она уже давно привыкла к этим зимним картинам.

Сашенька, сидя высоко на снопах, болтала не умолкая.

— Мы с тобой каждый день будем ездить.

— Ладно,—ответила Аграфена.

Но после третьего рейса Сашенька примолкла, работала нехотя, ее движения были вялы и медлительны.

— Устала?—спросила Аграфена.

Сашенька промолчала, а на обратном пути, сидя на снопах, зябко кутаясь в шубку, призналась:

— Замерзла.

Они привезли воз, сложили около комбайна под навес и снова отправились в поле. Их задержал бригадир Слепов. Он подошел к саням, положил ногу на наклейку и, близко наклонившись к Аграфене, сказал:

— Зря! Совсем даже зря. Народу нехватает, а вы вдвоем ездите. Что? Что ты сказала?—спросил он Аграфену. И, посмотрев в лицо Сашеньки, предложил:—оставайся здесь, около комбайна. Будешь снопы подавать.

Сашенька оживилась. У комбайна работать—это куда интереснее, чем ездить в степь! Спрыгнула с саней, поспешно прошла под навес. Взяла вилы, забралась на вершину скирда под самую крышу сарая.

— Держите!

Поддела вилами огромный сноп, подняла его, изгибаясь всем туловищем, чувствуя, как у нее внутри все напрягается от усилия. Хотела бросить вниз, к самому комбайну, но сноп сорвался с вил, Сашенька потеряла равновесие и неловко, головой вперед, царапая лицо и руки о солому, скатилась вниз. Вокруг раздался дружный хохот.

— Начин!

— Как на масляной, с горки!

Она беспомощно барахталась в соломе, пытаясь встать на ноги, и тоже смеялась, хотя было не до смеха: болела ушибленная нога, ломило бок. Чьи-то сильные руки обхватили крепко за талию, подняли на воздух. Взглянула — Максим.

— Не уговаривались мы этак, соседка.

Лицо у парня румяное, волосы черные из-под кепки на глаза спустились, в глазах — веселый, лукавый огонек.

— Работать надо, а это что же!

— Пусти.

Сашенька стряхнула с себя приставшую солому, забралась снова на самый верх скирда, стала подавать снопы, но радужное, бодрое настроение, какое испытывала минуту назад, исчезло. Что тому было причиной—девушка и сама сказать не могла: то ли недовольство собой, что оскандалилась на людях, то ли не затихающая боль в коленке — видимо, до крови ссадила, или Максим был виноват во всем. Сашенька хмурилась, отгоняя эту мысль, а сама украдкой поглядывала на него. Ох, молодец! Стоит, засунув руки в карманы, раскачивается с каблука на носок; мороз, а он в сапогах — форсит! Вот он поднял голову, встретился с ней взглядом и, заговорщически подмигнув, крикнул что-то, чего нельзя было разобрать за гулом мотора.

Она отвернулась: „Вот еще!“ Но ей, в этом сама боялась признаться, было приятно внимание молодого красивого парня.

Молотьбу кончили в сумерки. Уставшие, продрогшие шли люди по улицам домой к жарким лежанкам. Приятно после такого трудового дня поест жирных шей с бараниной, проглотить добрую четверть пирога с картошкой и запить все это квасом или яблочным взваром, забраться на печку, вытянуться во всю длину, чувствуя приятную усталость во всем теле и — блаженные минуты! — отдыхать, без дум и волнений, как только может отдыхать много поработавший здоровый человек.

Мотор заглох, солому прибрали. Сашенька отдала вилы Слепову, вышла со двора на улицу. Максим — рядом: им по пути, они соседи. Дорогой рассказывал о поездке в районный центр.

У ворот аграфеновой избы остановились. Максим не прочь бы еще поболтать, но она, зябко поведя плечами, сухо сказала: — Прощай, спать хочу. — Руки не подала, хлопнула калиткой, скрылась.

Максим постоял с минуту в раздумьи, усмехнулся чему-то и пошел к себе в избу.

С того дня Сашенька стала замечать: куда бы ни отправлялась, обязательно навстречу попадет Максим. Шла ли поутру за водой к колодцу — он стоит у своих ворот. Поздоровается, скажет два-три слова, ему больше и не надо. Возвращается ли из колхозной кладовой или с молоком, вымененным на чулки, встретится на дороге. Остановится, перекинется шуткой, рассмешит — и, довольный, весело посвистывая, идет дальше. Раза три завернул к ним домой. Сидел подолгу, оживленно расспрашивал про прежнюю жизнь, поддакивал Анне Степановне: — Конечно, тяжело, что и говорить, дом бросить; поддерживал и сетования Ксаши, которая жаловалась, что от Виктора давно писем не было: — Почта! Это просто диву даешься, до чего же безобразничает; рассказывал смешные истории про квартиранта Петра Петровича, как менял он у заезжего шофера свою фетровую шляпу на меховую шапку.

Наговорившись вдоволь, вспоминал о деле: мать наказывала спросить — нет ли закваски, блины завтра затевает.

Анна Степановна молча слушала веселые рассказы соседа, но частые посещения его не одобряла. Закрыв однажды за ним дверь, проговорила с досадой:

— Рассядется, как жених, ни совести, ни понятия, людям спать пора, а он балабонит, балабонит.

— А сама разговаривала, сама смеялась, — отозвалась Сашенька. — А что, с ним весело.

Анна Степановна подозрительно посмотрела на нее.

— Понравился!.. Не собираешься ли замуж за него?

Сашенька вспыхнула.

— Выдумала! И в мыслях не держу.

Анна Степановна внимательно разглядывала дочь, будто увидела ее после долгой разлуки. Рослая, здоровая, крепкая девушка.

„А ведь ей и в самом деле пора замуж“.

Пришедшая на ум мысль вначале показалась дикой и нелепой. Сашенька, девчонка — и замуж!.. Давно ли она заплетала цветную ленточку в косичку, каталась на салазках с ледяной горки и хлопала от радости в ладоши, когда по выходным мать стряпала сладкий пирог с черной смородиной и ей, как младшей, уделяла первой самый большой кусок. И вот на—замуж!

„Подошла пора и Сашеньке обзаводиться семьей. Обождавать бы, после войны...“

Анна Степановна несколько раз заводила разговор на эту тему, но Сашенька, смеясь, обнимала мать, целовала ее в щеки, в глаза:

— Что ты, мамочка, разве я оставлю тебя. И не думаю, и не собираюсь.

А сама отводила взгляд, краснела. И Маслова поняла: ее младшее дитя, ее девочка, Сашенька полюбила.

* * *

Как-то на ферму заглянул Червяков. Ходил вдоль стойл, шурился, довольно хмыкал.

— Помогают?—спросил у Шарова, показав глазами на стоявших неподалеку ткачих.

— Работают,—ответил Шаров.

— Так, так... Приучилась?—обратился председатель к Масловой.

— Хитрого ничего нет. Когда на фабрике перевели с одного станка на два, думала—батюшки, не управлюсь, а потом на пяти работала.

— Сыновья пишут?

— Пишут, за Москвой дерутся. От младшего, от Виктора что-то давно нет.

— Напишет. У меня сын три месяца не писал, потом объявился—в окружении был. Значит, дело идет? Так, так... Признаться, боялся вам коров доверять, чорт знает, что за люди,—ну-ка испортят; корова, знаешь, теперь какая ценность...—Червяков улыбнулся, лицо его помолодело, стало добрым.—С Евдокией спорите?

— Случается.

— Бабенка вздорная, а захочет—гору свернет. В прошлом году больше всех надоила.

— Евдокия?

— Вот то-то и оно. Захочет, говорю, месяц с неба достанет... Твоего десятка?—кивнул он на Зореньку.—Ишь, какая стала, хоть на выставку. За коровами строго наблюдайте, скоро отел начнется, самая ваша страда.

Уже уходя, как бы мимоходом, сказал Шарову:

— Подбери заранее, Яков Власыч, какие коровы к работе способны. В бороны весной придется запрягать. Учить по снегу легче.

— По снегу удобнее,—согласился Шаров.

— Силосную яму что не вскрываете? Сейчас перед отелом и давать.

— На этой неделе вскрою.

— Действуй, Яков Власыч, действуй.

Когда Червяков ушел, Шарова обступили доярки.

— Коров впрягать велит?—спросила Катерина.

— И коровам покоя нет,—возмутилась Ольга.

Евдокия—сразу спорить:

— Пусть коровы молока дают,—заявила она,—а пахать да бороновать—забота не наша, об этом пусть полеводческая бригада думает.

— Не твоя изба горит,—сумрачно заметил Шаров.

— А ты, заведующий, тоже в одну дуду дудишь. Нет, чтоб объяснить, так, мол, и так, коровы, мол...

— А то он сам не знает.

— Не дам я коров своего десятка, вот и все,—решительно заявила Евдокия,—какой интерес.

— Дашь,—спокойно ответил Шаров.

— Да ежели я не захочу, да какое вы имеете право! Бабоньки, да что же это такое,—зачастила было Евдокия, но встретила угрюмый, недобрый взгляд Шарова и осеклась. Бросила с ожесточением поскребок на пол, отошла к своим коровам и там уже дала волю своим чувствам. Долго еще слышался ее повизгивающий пронзительный голос.

В конце дня Маслова, томимая раздумьем, выбрала минутку, когда поблизости никого не было, спросила Шарова:

— Коровы от этой, от бороновки молока не убавят?

Шаров ответил не сразу. Полез, как водится в таких случаях, в карман за табаком, за бумагой, начал свертывать самокрутку.

— Ну как не убавят.

— Понимаю,—кивнула головой Маслова,—значит, это важнее, это очень нужно.

Шаров посмотрел на нее.

— А ты как думаешь, хлеб-то надо сеять, а где тягло?

Вечером дома, когда все собрались, Маслова рассказала о посещении Червяковым фермы, сдержанно добавила:

— Не знаю, сумею ли я это самое боронование проводить. В жизни не видела, понятия не имею. Это трудно, тетка Аграфена?

— Найдутся и без тебя люди, заборонуют.

— Кажется, и я себе работу нашла,—вступила в разговор Ксаша.

— Какую?—живо спросила Маслова.

— Опять в школу. Встретилась на улице с председателем сельсовета—славная женщина! Разговорились. „Что же, говорит, раньше не сказали“. Обещала в районо поговорить. Сейчас все места заняты, а с нового года, с третьей четверти...

— И пора, Ксаша, пора. Я и сама думала: человек ты с образованием, а без дела. В наше время все должны быть в строю. Вот еще Сашеньку надо припутить,—Маслова ласково взглянула на сидящую напротив дочь.

— За меня, мама, не беспокойся, я быстро дело найду.

— Только не рядом с соседским парнем.

Сашенька вспыхнула от смущения.

— Мама, как не стыдно!

Сидевшая за столом Аграфена усмехнулась:

— Все девушки на одну колодку: „замуж не пойду, не пойду“, а у самих только и думка о том.

Сашенька задорно вскинула голову:

— Замуж нам выходить нельзя, мы чужие тут.

— Глупости говоришь, Сашенька,—оборвала ее мать.— Россия—одна страна, у себя ли дома, тут ли—все близкое, родное. Разве о колхозе мы не должны думать так же, как думали о фабрике? Нынче Червяков о себе помянул, нас это разве не интересует? Великое дело сейчас—посеять много хлеба.

Сашенька порывисто вскочила, подбежала к матери, обняла ее.

— Мамочка, золотая! Обо всем, обо всем ты думаешь. Не сердись на меня, я еще глупая, глупая.

Маслова рассмеялась, притянула к себе Сашеньку.

— Разве можно на тебя сердиться. Стрекоза!

VI

Все уселись за стол ужинать, дети подняли возню из-за ложек. С улицы, обдавая струей холодного воздуха, пришла Сашенька. Сбросила шубку, быстро ходила по избе, дула на озябшие руки и то принималась рассказывать о комсомольском собрании, то замолкала, зябко поводя плечами.

— Садись, пока не остыло,—предложила мать,—ровно маятник—и туда, и сюда...

Сашенька села за стол, зачерпнула из миски большой деревянной ложкой кашу и, не донеся до рта, задумалась.

— Ешь!

Сашенька тряхнула головой, нервно рассмеялась. Какие-то мысли тревожили ее.

— На курсы трактористов набирали,—сообщила она,—записались одни девушки.

— Правильно,—одобрила Маслова,—женщины теперь всюду на места мужчин становятся. Недавно в газете прочитала, на каком-то заводе женщины даже литейщицы.

Дуя на горячую кашу, Сашенька деланно равнодушно до бавила:

— Я тоже записалась, буду трактористкой.

— Хоть бы с матерью посоветовалась,—недовольно проворчала Маслова,—не женское это все-таки дело,—неожиданно заявила она, не замечая, что сама себе противоречит.

— А сталь варить—женское!—Сашенька засмеялась, довольная тем, что ловко поймала мать.—Женщины должны заменить мужчин,—повторила она мысль, только что высказанную Масловой, и подмигнула Ксаше.

Это уж совсем рассердило ткачиху.

— Над старухой - матерью не смейся. А посоветоваться надо бы.

— Я советовалась.

— С кем?

— С Максимом, он тоже едет в МТС, будет нас учить на курсах. Уговорились вместе ехать.

— „Уговорились“, „вместе“, — иронизировала Маслова, — точно жена с мужем.

Сашенька густо, до слез покраснела и, словно решившись на отчаянное дело, произнесла:

— А может, он и муж мне.—Бросила на стол ложку, закрыла лицо руками.

Наступила тишина. Даже ребята, шумно спорившие на скамье, замолкли. Ксаша прижала руки к груди и в недоумении переводила взгляд то на Сашеньку, то на свекровь. Анна Степановна широко раскрытыми глазами смотрела на дочь, не в состоянии ни рта открыть, ни пошевелиться.

— Вот это да!—произнесла она, наконец, сдавленным голосом,—удружила доченька, нечего сказать.

Сашенька порывисто вскочила, кинулась к матери на шею, спрятала у нее на груди пунцовое от смущения лицо. И засмеялась и заплакала.

— Милая, родная, я не знаю, как это произошло, я ничего не знаю. Он хороший, не обидит меня. Он ни в чем не виноват. Завтра пойдем в сельский совет, зарегистрируемся, а на той неделе уедем.

Она отстранилась от матери, по ее щекам медленно катились слезы. Ее большие глаза, преображенные глубоким чувством, блестели таким чудесным чистым светом, ее лицо дышало таким восторженным счастьем, что Анна Степановна, уже готовая разразиться горькими упреками, привлекла к себе сашенькину голову, поцеловала мягкие вьющиеся волосы.

— Доченька, родная моя,—шептала она,—как же это так?

Сашенька прерывистым от волнения голосом повторяла:

— Не сердись на меня, мама, прости.

Анна Степановна гладила ее волосы, ласкала, как бывало в детстве, когда Сашенька вся в слезах прибегала со двора, жалуясь на обидевших ее подружек.

— С матерью бы посоветовалась.

— В таких делах разве нужен советчик.

И по тому, как она произнесла это, Маслова поняла, что грани, отделяющей девушку от замужней женщины, больше не существует. Сашенька как-то сразу стала взрослой.

„Но время-то, время какое!“—думала Анна Степановна.

Весь вечер мать и дочь провели в задушевной беседе. Давно уже спали дети, уснула и Ксаша, постелив на полу, а они все сидели, тесно прижавшись друг к дружке. В этот тихий зимний, памятный для Сашеньки вечер, умудренная жизненным опытом мать давала ей советы, как идти по длинной неведомой дороге жизни.

Сашенька слушала, прикладывала кулачки к пылающим от волнения щекам, говорила:

— Страшно, ой, страшно, мама... Максим добрый, славный, ты его полюбишь. А все таки страшно... На всю жизнь!

Они засиделись далеко за полночь и легли спать лишь тогда, когда на селе голосисто стали перекликаться петухи.

* * *

Утром, уходя на работу, Анна Степановна обещала скоро вернуться и принять участие в приготовлении свадебного обеда, но задержалась. Как только пришла на ферму, сторож сообщил:

— Зоренька всю ночь тревожилась. Должно быть время подоспело.

Анна Степановна прошла в стойло. Зоренька лежала, вытянув ноги. Засылав шаги, повернула голову и глубоко, затянно вздохнула.

— Тяжко, Зоренька?

Анна Степановна вычистила стойло, убрала навоз, принесла на коромысле воду. Корова потянулась к ведру, прильнула к воде большими мягкими губами, со свистом стала пить. Вдруг откинула голову и глухо застонала, в ее неподвижных мутных глазах мелькнул страх. Все это было очень похоже на человеческое. Анна Степановна растерянно смотрела на Зореньку, не зная, за что взяться. Корова беспокойно зашевелилась, попыталась подняться, и снова застонала.

Весь последний месяц готовилась Анна Степановна к этому часу. Расспрашивала и Шарова, и доярки-колхозниц, какими признаками сопровождается отел, что надо делать в это время, чего опасаться. Доярки посмеивались над ее тревогой.

— Коровы сами знают, что делать. Весной, случалось, на пастбище пастух не уследит, придешь брать корову, а около нее телок—облизанный, словно вымытый.

— Нельзя допускать, чтобы корова облизывала,—наставительно возражала ткачиха, вспоминая вычитанное в брошюре наставление,—молоко будет горькое.

Анна Степановна добросовестно прочитала все, что касалось отела, и спокойно ждала его. Но когда наступил этот час, как-то сразу, все что слышала, что читала, все советы и указания,—все вылетело из памяти. Она поспешно прошла в молочную, надеясь найти Шарова, но его там не оказалось. Возвращаясь, встретилась с Евдокией. Забыв ссору и насмешки, смущенно сказала:

— Зоренька телиться начинает, а Шарова нет. Скажи, что делать?

Евдокия поджала тонкие губы:

— Евдокия — поганка, самая вредная насекомая на земле, чего к ней пристаешь. Ты, вижу, словами—и туда, и сюда, делами нет никуда

Это отрезвило Анну Степановну.

Правильно, сама должна все знать.

Она постелила свежей соломы вымыла руки: у коровы начались выделения. В это время подошел Шаров, осторожно пощупал пах коровы, сказал:

— Скоро! — И стал свертывать папиросу. Не успел выкурить, начались роды. Шаров быстро присел и почему-то шопотом произнес:

— Помогай.

Маслова не знала, чем именно надо помогать. Присела рядом и так сидела, не двигаясь. Он повернулся к ней, свистяще просипел:

— Что же ты, дура! Тяни за ноги, у телка голова подвернулась. Осторожней тяни.

Маслова даже не заметила, что Шаров обозвал ее дурой, так все это было необычайно. Она взялась за ножки теленка с крохотными, мягкими, еле обозначенными копытцами и, опасаясь оторвать их от туловища, еще находящегося во чреве коровы, потянула к себе.

— Сильнее! Видишь, корова не жилится, устала. Тяни, говорю! — крикнул он сердито.

Шаров действовал уверенно. Его руки уже были по локоть в крови, кровью были вымазаны пиджак, шапка, даже лицо. От напряжения он прерывисто дышал, на лбу выступили крупные капли пота.

— Сейчас голова выйдет.. Тяни, что бросила! А, бестолочь!

И снова Анна Степановна не обратила внимания на грубость. Она послушно выполняла все распоряжения, не вникая в их смысл. Тянула теленка за ноги, гладила корову по шее, успокаивала, зачем то совала ей в рот между стиснутыми рядами зубов щепку, вздыхала, охала, переживая такое волнение, как если бы роды происходили в ее семье, у близкого человека. Когда вышла наружу голова, Шаров коротко сказал:

— Все! — Обхватил двумя руками туловище теленка, и в следующий миг Зоренька облеженно, протяжно вздохнула, а около ее ног, на соломе, в луже воды и крови, слабо мыча и суча тоненькими ножками, зашевелился мокрый теленок. Анна Степановна нагнулась к нему, приговаривая ласковые слова, принялась обтирать его полой шубейки.

— Зря, — сказал Шаров. Он был прежний — невозмутимый, флегматичный, каким она его всегда знала, — одежду попортишь. Соломой оботри. „Место“ выйдет — выбрось.

— Знаю, — ответила Маслова, вновь обретая сейчас, когда уже все кончилось, свою обычную уверенность.

Домой Анна Степановна возвращалась к полудню. Слегка болела от усталости голова, но настроение было приподнятое, бодрое.

День стоял морозный. Легкая дымка тумана, заволакивая небо, низко висела над селом. Кое-где запоздавшие хозяйки еще топили печь; белый дым, не колеблясь, медленно поднимался ввысь и расплывался пышным облаком. Казалось, над избами, упираясь вершинами в задернутое туманом небо, стоят огромные, раскидистые, опущенные инеем деревья.

Анна Степановна шла медленно по улице, с наслаждением вдыхая морозный воздух. Она испытывала удовлетворение человека, совершившего полезное, нужное дело. Все обошлось бла-

гополучно, гораздо лучше, чем ожидала. Когда все кончилось, и она отнесла теленка в загороженный угол, Шаров сказал:

— Дело у тебя пойдет, Степановна,—потом нерешительно хмыкнул, добавил,—а за „дуру“, того, не взыщи. Под горячую руку.

Вспомнила этот разговор, улыбнулась.

„Чудак, медведь“.

Под ногами звонко хрустел снег и этот снег, и посеребренные морозом вороха соломы на окнах изб, и надетые на крыши пушистые снеговые шапки, и этот медленно поднимающийся к небу дым — все белое, чистое несказанно умиляло, проникло в самое сердце. Пахнуло родным, давно забытым, уходящим в далекое детство, чем-то близким, знакомым, что давно — давно утратила, что силилась вспомнить ткачиха и не могла. Все дышало по коем, умиротворением, это трогало Анну Степановну.

— Как хорошо!—произнесла она, невольно замедля шаг.

* * *

Дома ее ждали с нетерпением. Сашенька, Максим, сваха, тетка Аграфена и еще какие-то женщины и незнакомые мужчины толпились в избе, все принаряженные, довольные, с сияющими, радостными лицами. Тетка Наталья уже изрядно хватилась, щеки ее разругались, глаза посоловели. Она кинулась раздевать Анну Степановну, стщила шубейку, стиснула в объятиях, обдавая запахом водки:

— Желанная моя свашенька! Что припозднилась, все жданки прождали. В горле пересохло, смочить надо бы, а без тебя как начинать. Садись скорее, садись.

На столе, покрытом розовой с яркими цветами скатертью, чинно расставлены расписные чашки, граненые стаканчики, тарелки, тут же лежали старательно отчищенные ножи и вилки; нежно-голубой графин отсвечивал, как бьющая с гор струя. Вся эта утварь хранилась еще со времен свадьбы самой Натальи.

Пока Анна Степановна умывалась да прихорашивалась, тетка Аграфена и Ксаша гремели у печки ухватами. На столе, исходя паром, появились свадебные блюда: жирные щи с бараниной и огромный, с колесо, мясной пирог с такой подрумяненной аппетитной коркой, что Анна Степановна только ахнула:

— Ну, мастерицы!

Она только сейчас вспомнила, что ничего не ела с самого утра и, предвкушая сытную еду, села за стол.

Пришел Червяков, его шумно приветствовали и усадили на почетное место, рядом с Анной Степановной. По другую сторону уселся, считая себя тоже знатным гостем, Петр Петрович Перепелица. Маслова с удовольствием ела все, что подавали. А подавали, как и полагается на всякой приличной свадьбе, обильную и разнообразную пищу. После щей и пирога последовала жареная баранина с картошкой, потом пшенная каша, густо сдобренная растопленным маслом, потом блины,

политые сладкими сливками, потом пареная тыква, потом (тоже пареная) нарезанная ломтиками сахарная свекла и снова пирог, на этот раз — с сушеной поздником, и мед, и соленые арбузы, и сушеная душистая дыня.

Анна Степановна потеряла счет блюдам и не могла понять, чем руководствовались хозяйки, когда вслед за жареной бараниной на стол была подана огромная сковорода с блинами.

„Неужели и это одолеют?“ — думала она, поражаясь аппетиту сидящих за столом гостей. Но блины исчезли так же, как и баранина, и пироги. И сама она, возбужденная общим оживлением, накладывала на тарелку и пирог, и блины, и кашу — все было сытно, сладко, жирно. И все это незаметно поедала, отгоняя мысль, что подобное излишество в ее годы даром не пройдет. Разгоряченная водкой, шутила, смеялась, поглядывала на молодых и, вспоминая старинку, задорно кричала:

— Горько!

Сидящий рядом Петр Петрович усердно угощал, стараясь показать себя благовоспитанным человеком, умеющим держаться в любом обществе. Подкладывая на тарелку Анны Степановны крупные ломти соленого арбуза, говорил:

— Завидую и преклоняюсь. Вы — цельная, сильная натура. Вас питает неиссякаемый источник воли, вы из народа. А я — изгой, Анна Степановна, не найду себе места на земле.

Маслова, не совсем понимая, о чем он говорил, отстранялась от него, хлопала слегка по руке.

— Не тоскуй, Петр Петрович, живи, кой дьявол тебе мешает!

Перепелица сокрушенно качал головой.

— Жизнь моя гаснет, Анна Степановна. Где вы мечты, где грезы юности? В последнем классе гимназии мы издавали рукописный журнал. Я подавал надежды, писал стихи. Мне говорили — поэт! А потом захлестнула мутная житейская волна.

Анна Степановна толкала его в бок, кричала, хохоча:

— Перестань, не смейся, Петр Петрович. Женись, найди хозяйку, вот тетка Наталья...

Наталья, услышав о чем речь ведут, откликнулась с другого конца стола:

— Загрызу, не вытерпит, — и залилась пьяным смехом.

Петр Петрович шурил близорукие глаза:

— Ах не то, совсем не то.

Сидящий с другой стороны Червяков пытался поддержать солидный разговор:

— Породнилась с нами, мужиками, Анна Степановна, теперь дочка твоя кто? Колхозница, мужичка. Она — наша, так-то. И тебе, стало быть, корни надо в землю пускать. Бригадиром назначу, ей богу, хочешь ферму отдам, заведывай, а Шарова — отставляю.

— Будет болтать, — останавливала его Анна Степановна. — Пей. Пей, говорю!

Чувствуя приятную истому от тяжести в желудке, она временами впадала в дрему, и тогда внезапно исчезали стол,

заставленный кушаньями, и гости, затихал шум. Потом сразу опять все возникало. Анна Степановна открывала широко глаза, озиралась, опасаясь — не заметил ли кто, как она дремала. Откуда-то появилась гармонь; механик из МТС, разбитной парень в яркой цветной трикотажной рубашке, лихо стуча каблуками, плясал русскую; потом заиграли вальс, и Петр Петрович, картинно откинув локти, кружился в паре с Ксашей.

В общем все шло, как обычно у всех на свадьбе, и Анна Степановна забыла про волнения и тревоги, испытанные утром, забыла про войну, про то, что на фронте у нее сыновья, сноха. Война напомнила о себе сама — неожиданно и страшно.

VII

В жизни каждого человека бывают незабываемо тяжкие дни. Они прибавляют в волосах седину, тушат веселый блеск в глазах, проводят по лицу глубокие морщины. И вспоминаются много-много лет спустя.

Утром Анна Степановна, как обычно, отправилась на ферму. Долго и бесплодно возилась с Зоренькой: у коровы оказались тугие соски, она боялась щекотки. Пальцы Масловой, умевшие одним приемом ловко и быстро связывать обрывы ниток на ткацком станке, одеревятели, не слушались. Она то сильно дергала соски, и молоко, звенькая, острой струей лилось мимо дойницы, то еле оттягивала, и тогда в ведро стекало несколько капель.

Зоренька беспокойно переступала с ноги на ногу.

— Стой, Зоренька, стой! — уговаривала Анна Степановна, но корова сердито лягнула, и не успела Маслова подхватить дойницу, как она опрокинулась и молоко пролилось на сопревшую, бурюю подстилку. Раздраженная неудачей, Анна Степановна опустила на подстилку, с досады ударила кулаком по полу.

— Будь ты проклята такая жизнь! Не за свое дело взялась... Пойду к Червякову, скажу по-честному — не могу. Себя замучаю, корову испорчу.

Но ей тут же представилось торжествующее лицо Евдокии, слышался насмешливый голос: „На словах больно горзда, куда там, а дела коснулось, коровы не выдоила. Вот докажи теперь“.

„И докажу“, — упрямо возразила Маслова, подняла дойницу, под села к корове. — „Думала, так, сразу, взялась за соски и дело пошло. Нет, ты попыхти, помучайся, всякий опыт горько дается. Вспомни креп-де-шин“.

Как-то на фабрике, это было давно, ее перевели с суровья на выделку креп-де-шина. Работа эта хорошо оплачивалась и считалась почетной. Но в первые дни Маслова испытывала только недовольство собой: нитки часто рвались, в кусках зияли пропуски. Контролер ОТК сокрушенно сообщал:

— Опять брак. Не ладится у тебя дело.

В тот месяц она почти ничего не заработала, и подружки подсмеивались:

— Ну, как на почетной?

— А ну ее к чорту и с почетом! Пойду к начальнику смены, попрошусь обратно на суровье.

Но не пошла, не попросилась: было стыдно своей беспомощности. Маслова изучила основу, освоила станок, научилась сразу разыскивать обрывы и быстро связывать нитки. А через два месяца давала столько же ткани, как и старые ткачихи...

Анна Степановна уже заканчивала дойку, когда подошла Катерина. Остановилась, посмотрела внимательно на работу Масловой, поставила на пол свои дойницы.

— Не ладится у тебя, вижу, Степановна.

— И себя и корову замучила. По книжкам все понятно, все просто, а на деле вот не получается.

— А ты не пальцами, эдак хуже беспокойство корове причиняешь, кулаком надавливай: и легче и быстрее. Гляди, вот так, — Катерина присела рядом и показала, как надо доить корову. Получалось у нее это удивительно просто и ловко, сжатые в кулаки пальцы рук действовали быстро, проворно, молоко бежало в дойницу ровными струями. И страшно — Зоренька, которая только что нервно переступала с ноги на ногу, стояла теперь спокойно, даже, казалось, задремала.

— Что значит сноровка, — сказала с некоторой завистью Маслова.

— Дело нехитрое, научись...

Они вместе вошли в молочную. Там уже собрались доярки. Пахло парным молоком и еще чем-то душистым, знакомым, не то отлежавшейся антоновкой, не то увядшим чебрецом. Журчал сепаратор, из его выгнутого крана густые сливки стекали в широкое оцинкованное ведро. Свеже выбеленные стеиы молочной, украшенные цветными, броскими плакатами, стол покрытый клеенкой, оцинкованные бидоны, стоявшие в ряд, белые марлевые салфетки, через которые процеживалось молоко — все это придавало помещению какую-то особую домовитость. Анна Степановна всегда испытывала приятное чувство, входя сюда со двора. Но сейчас она вошла, как запоздавшая сменщица — ругать будут; в ее дойнице молоко еле покрывало дно.

Шаров сидел за столиком, склонившись над толстой тетрадью. Катерина литровой меркой начала сливать в бидон удой.

— Пятнадцать, — сообщила доярка.

Шаров помусолил во рту карандаш, неторопливо вывел в тетради цифру „15“.

Дошла очередь до Масловой.

— Полтора литра, — смущенно сказала она.

Шаров оторвался от тетради, пытливо посмотрел на ткачиху, но ничего не сказал, даже бровью не повел, записал удой в тетрадь. Лучше бы выругался, лучше бы посмеялся, чем этот немой укор.

— Пролила я, лягается корова, не дает больше.

И на это смолчал Шаров. Маслова постояла с минуту,

ожидая, может быть все-таки скажет что-нибудь заведующий, а он занялся подсчетом удоя, не обращая на нее никакого внимания. Так и не дождалась ткачиха ни слова. И ушла, как побитая. „Нехорошо, ой, как нехорошо!“

Дома ожидал сюрприз: Ксашу вызвали по телефону в район, в военный комиссариат („способие что ли хотят дать“, — строила догадки тетка Аграфена). Ксаша заторопилась, даже не обедала, быстро собралась и уехала с попутчицей-акушеркой, приехавшей на роды к жене глухого бригадира Слепова.

— А за тобой Егорка приходил, — вспомнила Аграфена, — в совет требуют. Как, говорит, придет, чтоб непременно шла.

— Зачем зовут, не говорил? Что за дела? — недоумевала Маслова, садясь за стол.

— А кто их знает, — уклонилась от ответа хозяйка, поддевая ухватом горшок со щами.

Пообедав, Маслова отправилась в сельский совет. Он помещался в том же доме, что и правление колхоза. Председатель совета Марья Тимофеевна Мочалова — худенькая, маленькая женщина с бледным невыразительным лицом, встретила ткачиху приветливо, поздоровалась за руку, усадила рядом на диване с продавленными, скрипящими пружинами.

— Ну, как свадьба прошла? Слыхала, гуляли долго.

— У кого что! Пришла моей девке охота хомут на шею одеть. В такие дела мать теперь и не вмешивайся.

— Боятся упустить, думают: этот самый хороший, лучше не сыщется. Вот заберут Максима на войну, тогда что! — Мочалова отвела глаза, как бы между прочим спросила: — у тебя на фронте много?

— Семеро, — с гордостью ответила Маслова, — пять сыночек, муж и сноха.

— О-о! — протянула удивленно Мочалова. — Поди, скучаешь? Я вот одного проводила и то вокруг стало пусто. Если убьют, сразу все потеряю. А у тебя...

Мочалова не договорила, застучала пальцами по деревянному подлокотнику. Анна Степановна насторожилась.

— Ну вот пришла. Зачем понадобилась?

Мочалова положила свою теплую маленькую руку на широкую ладонь Масловой, тихо сказала:

— Из всех обязанностей моих самая тяжелая — вести вот такой разговор. Не хочу, а должна тебе боль причинить.

Сердце Анны Степановны дрогнуло, будто в груди ударили в колокол, и гулкий звон, разливаясь волнами, оглушил.

— Говори, что случилось?

— Война, Анна Степановна, к этому надо быть готовым. Мы, матери и жены, проводили близких не на прогулку, на фронт, и должны знать: кто-то из них не вернется, там останется.

— Марья Тимофеевна, не томи!

— Женщина ты умная, поймешь. Я должна тебе сообщить... — Мочалова провела ладонью по лицу и быстро добавила: — из части пришло письмо, твой сын Виктор...

Анна Степановна охнула, схватилась за сердце и еще не веря, не желая верить, пытаюсь отдалить страшный миг, сама стремительно приблизила его, выдохнув:

— Убит?!

Мочалова развела руками:

— Что делать, что делать.

Маслова не помнила, как она рыдала, припав к плечу Мочаловой, как пила, с захлебом, холодную воду, как дробно стучали зубы о края кружки. Мочалова обняла ткачиху, плакала вместе с ней и тихо повторяла:

— Вот и все, вот и все, хуже этого не будет, вытерпи, снеси, что же делать.

Анна Степановна сидела сгорбившись, опустив низко голову. Ее натруженные руки бессильно лежали на коленях. Она судорожно глотнула воздух, вытерла глаза платком.

— Я пойду, — тихо сказала она и поднялась. Ее лицо было строго, только покрасневшие и опухшие от слез глаза выдавали пережитое. — Ничего мне не говори, не надо. И не провожай, я одна...

Маслова шла по улице тяжелой походкой, чувствуя себя дряхлой, слабой старухой. Был такой же морозный день, как и тогда, в день свадьбы Сашеньки. Такая же сизая пелена тумана висела над селом, и белый дым, поднимаясь из труб, упирался вершинами в невидимое небо, и так же блестела солома, укрывавшая окна крестьянских изб, и снег хрустел под ногами. Но все это — чистое, белое, нетронутое не радовало теперь Анну Степановну, а, наоборот, навевало тоску и печаль. Казалось, будто весь мир онемел, притих, прислушивается к ее горю.

— Убит, — шептала она, — убит. — И не хотела верить в это страшное слово. — Можно быка убить, медведя, волка, а как можно убить человека? Нет, не то, что-то не то.

Маслова силилась представить сына мертвым и не могла. Ее Витенька, этот непоседа-балагур, веселый, добрый парень, сейчас лежит недвижим, и его губы никогда не растянутся в милой улыбке, а серые глаза не заблестят лукавой искринкой.

— Не может быть, не может...

Около дома ее остановил Перепелица.

— К вам, Анна Степановна, поговорить хотел.

Он стоял перед ней, высокий, плечистый, выше ее на голову и смотрел просительно и жалостливо.

„Здоровый и невредимый, — подумала Маслова, окидывая, взглядом его рослую фигуру, — а мой...“ Но тут же устыдилась своих мыслей.

— Что тебе надо, Петр Петрович?

— Заступничества, Анна Степановна, заступничества... Вы пользуетесь авторитетом, председатель вас уважает. Ну, подумайте, что они со мной делают! Посылают в обоз, хлеб на элеватор возить. Невообразимо!

„О чем это он?“

Она была далека в эту минуту от всего житейского;

занятая собственными мыслями, ответила устало:

— Не до тебя мне сейчас.

— Вот так всегда, — грустно произнес Перепелица, не замечая ее скорбного тона, — хожу в мире, среди множества людей, покинутый, одинокий. И никто не подойдет, не спросит: как ты живешь, человек?.. Научите, Анна Степановна, что делать. В городе я применил бы свои знания, а тут.. Конюхом предлагают статьи! Боже мой!..

Анна Степановна смотрела на его слегка одутловатое лицо, тонкий, длинный нос, давно небритые щеки, и ею внезапно овладел гнев.

— Ну и подыхай! — крикнула она ошеломленному юристу. — Если за жизнь не можешь уцепиться, нечего ползать по земле. Воробей и то бьется, ищет, зернышко добывает, а ты!.. Живет же вот такой, а мой Витенька.. — губы ткачихи мелко задрожали, она отвернулась и поспешно прошла в свою калитку.

Растерявшийся Перепелица остался на улице. Недоумевающе пожал плечами:

— Не понимаю, ничего не понимаю. Нравы! Что за люди на свете!

* * *

Ксаша вернулась к вечеру. Она тихо вошла в избу, встала у порога и широко раскрытыми глазами, не мигая, смотрела на Маслову. Ткачиха сидела за столом и тоже пристально смотрела на сноху. Так продолжалось секунду—две, потом обе порывисто кинулись одна к другой.

— Ты уже все знаешь, все? — спрашивала сквозь слезы Маслова.

Они стояли среди избы, крепко обнявшись, и плакали. Маслова тихонько гладила сноху по плечу.

— Плачь, родная моя, плачь.

— Как я любила его, как любила, — причитала Ксаша.

— Мы его все любили. Что делать, что делать, — Маслова уже сама утешала.

VIII

Ничего не изменилось на земле с того дня. Так же по утрам невидимое за морозным туманом вставало солнце, а днем висела низко над землей густая пелена темно-свинцовых облаков; порою налетал холодный ветер, взбивал солому у окон изб, стелил по улице колючую поземку, или в приглушенной тишине падал крупичатый плотный снег. Встав поутру, люди привычно принимались за обыденные дела: тетка Аграфена топила печь, Иосиф Казакевич, зубной техник, работающий в колхозе конюхом, гнал мимо окон жеребят на водопой к проруби, почтарь, шустрый подросток Шурка разносил по селу письма и газеты и на вопрос: „нет ли письмишка?“ неизменно отвечал: „бумагу припасают, скоро напишут“. Попрежнему ходила Маслова на ферму, попрежнему убирала стойла, доила коров. Доярки судачили, иногда спорили, шутили, смеялись, словом, жизнь шла своим, раз заве-

денным порядком—и это обижало Маслову. Как люди могут смеяться, когда у нее кровоточит душа? Как они могут разговаривать, спорить, шутить, когда у нее такая беда случилась! Ей казалось, что ее горе—общее горе, все должны страдать, как и она.

Внешне Маслова была спокойна, как всегда, строгая деловая. Но говорила теперь очень тихо, ходила, прижав руки к бедрам, слегка склонив голову, будто прислушивалась к тому, как трепетно и тревожно бьется сердце. И где бы ни была, что бы ни делала—постоянно ловила себя на мысли: „А что сказал бы Витенька, похвалил или на смех поднял бы?“ Этой мыслью Анна Степановна проверяла себя дома, на ферме—всюду и дела свои выполняла старательно и аккуратно.

В эти дни она начала раздавать Зореньку, применяя рекомендованный в брошюрах способ. Брошюры ей дал агроном Николенко.

„Прочтите, Анна Степановна,—сказал он,—полезно познакомиться, что не поймете, ко мне обратитесь“.

То ли потому, что она находилась в эти дни в каком-то странном оцепенении, будто все, что делала, делала для Витеньки, то ли потому, что Николенко так был схож с ее Витенькой и, выполняя советы агронома, она как бы опять делала угодное сыну,—только Маслова внимательно прочитала брошюры, где подробно описывались опыты передовых хозяйств по раздою коров. И с поразительным рвением стала применять рекомендованные способы.

Чтение брошюры не прошло даром. Зоренька заметно прибавила молока, и это порадовало Маслову, на время отвлекло от горестного раздумья. Порой ей начинало казаться, что ничего не было: ни вызова в сельский совет, ни сообщения Мочаловой, все осталось попрежнему. Вот откроется дверь, на пороге появится Виктор и со своей лукавой усмешкой спросит: „Ну, как без меня жила, мать, как работала?“ Тогда-то она и ответит ему: „Гляди, сынок, суди сам, родной“. Ее постоянно занимала эта мысль, она даже как-то сказала Ксаше:

— Не верится. В уме одно держу, а в сердце другое. Ах, Витенька, Витенька...

Ксаша грустно покачала головой.

— И меня и себя напрасно тревожите. Мертвые не возвращаются.

Из этого состояния оцепенения Анну Степановну вывела весть о занятии советскими войсками родного города. В сельском совете, куда она зашла за справкой о составе семьи, Мочалова прочитала специальный выпуск сообщения Советского информбюро.

— Что теперь скажешь, Анна Степановна?—спросила весело Мочалова.

На постаревшем осунувшемся лице ткачихи впервые за много дней появилась улыбка:

— Я этого ждала. Все дни, как замороженная ходила. Сердце ноет, а в душе знаешь, будто кузнечики тоненько-тоненько

звенят. Не напрасно Витенька головушку положил. Придет время вся полоненная земля будет опять нашей, советской. Вернутся к матерям сыны, а мой Витенька...—не договорила, отвернулась.

— Вот и расстроилась, слезами горю не поможешь.

— Я и не плачу,—ответила обычным голосом Маслова,— а все же обидно. Когда немца одолеем, пир будет большой на всю землю русскую, должен быть такой пир. Сойдутся в одно место народы, все, кто немца бил: и украинцы, и грузины, и белоруссы, и киргизы. Сядут за большие, большие столы в саду—читала я где-то, пир такой в древние времена устраивали. На почетном месте—русские богатыри. Им особая честь и слава. Мечтаю так. Мечтать ведь можно, Марья Тимофеевна?

— Хорошая мечта.

— Много будет народа, а моего Витеньки не будет на том пиру.—Помолчав, спросила:—как советуешь, собираться нам или обождать?

— Куда?—не поняла Мочалова.

— Домой, к себе.

Мочалова рассмеялась.

— С нами поживи, поработай. Рано еще думать о возвращении.

Маслова промолчала, но, вернувшись домой, сказала Ксаше:

— Постирать белье надо, да починить одежонку детишкам. Будем потихоньку собираться.

Теперь ее думы раздвоились: и о ферме, как удои повысить, как телят сбережь размышляла, и к дому, на старое насыщенное место душой рвалась. При мысли о родном городе сердце сладостно замирало.

Как-то заглянул Петр Петрович. Сидел, положив ногу на ногу, и пространно философствовал о бренности жизни и жалком человеческом уделе.

— Обидно, Анна Степановна, очень обидно, я вас понимаю. Столько забот, волнений—и—на, в один миг нет ничего, все пропало, все исчезло. Ужасно! В юности я дружил с молодым человеком. Умница, красавец, единственный сын богатых родителей. Кончал политехнический институт. Влюбился в чудесную девушку, пользовался взаимностью, сделал предложение, был благосклонно принят. Счастье стучалось в его дверь. И вот за два дня до свадьбы отправились мы всей компанией в лес на пикник, и там, шая с наганом родственника-офицера, мой друг нечаянно застрелился. Как глупо! Ну, зачем, спрашивается, жил, учился, любил, думал? Нелепо наша жизнь устроена, ах, как нелепо!

Анна Степановна молчала, хмуро сдвинув брови. Когда ушел, сказала Ксаше:

— Не люблю его, что хочешь делай, не люблю. Будто из кусочков склеен, того гляди рассыплется.

Заходила тетка Наталья, по родственному сокрушенно вздыхала, охала, принималась плакать:

— Не знала его, в глазыньки не видала, а жалко, вот как жалко.

Анна Степановна строго прервала ее:

— Не надо плакать, не люблю я этого,—и, желая переменить разговор, спросила более мягким тоном:—О Максиме что слышать, как они там?

— Что им,—ответила, утирая глаза, тетка Наталья,—живут, работают. Твоя Сашенька старается, впереди всех идет.

— Мои все такие, что взять Алексея, что Виктора, всегда впереди.

Однажды вечером заглянул Шаров.

Анна Степановна диктовала письмо мужу. Напротив за столом сидела Ксаша и, низко склонив голову, писала:

„Еще сообщаю тебе,— диктовала Маслова,—что я попрежнему работаю на ферме. Из моего десятка отелилось уже шесть коров...“ — Написала?

— Шесть коров,—повторила Ксаша.

— Пиши дальше: „У одной коровы по имени Зоренька загрубело вымя,—пусть знает, что у нас делается,—сама я виновата, не выдаивала молоко. Пришлось с Марией Поленовой, тоже ткачихой, ты ее должен помнить...“

В это время и вошел запорошенный снегом Шаров.

— Еще здравствуйте.

Он долго отряхивался у порога, счищал веником снег с валенок, потом сел на сундук у двери, неспеша свернул самокрутку. На колени положил шапку, под шапкой—завернутый в тряпицу сверток.

—Буран,—сообщил Шаров после раздумья,—метет,—добавил он и замолчал, считая, что тема разговора вполне исчерпана.

Как вошел, как сел на сундук, все в избе почувствовали неловкость. Анна Степановна оборвала на полуслове диктовку письма, Ксаша положила на стол ручку, плотнее закуталась в теплый платок. Дети притихли и тарасили удивленные глаза на сумрачного дядю. Только сам он не чувствовал этой неловкости. Дымил с непринужденным видом, явно намереваясь просидеть так—неподвижно и молча—долго, хотя бы весь вечер, всю ночь.

„Зачем пришел?“—недоумевала Маслова.

— Старику своему пишу,—сказала она, желая завязать разговор,—три месяца в партизанах пропадал, ни слуху, ни духу, а как город отбили, объявился; опять завод налаживают, мастер он у меня. Пусть знает, как работаем.

Шаров покосился на письмо.

— Про удои напиши.

— Пишу, и как мы с Поленовой вымя у коровы разминали. Мало Зоренька дает молока. Почему?

— А корма какие!—ответил Шаров.

Они беседовали о разных делах: о кормежке скота и уходе за телятами, о раздое и времени случки. Она—потомственная старая ткачиха, у которой четыре поколения занимались ремеслом ткачей, и он—крестьянин-земледелец, чьи прадеды испокон века

обрабатывали землю. Тускло горела керосиновая лампа на столе, чадил фитиль и гас: керосин был смешан с водой. Уже детишки угомонились на печке, уснула за перегородкой Аграфена, уже Маслова, не стесняясь гостя, раза два громко зевнула, уже на полу, у печки валялась горка обкуранных козьих ножек и было переговорено обо всем, а Шаров сидел неподвижно на сундуке и курил. Наконец, встал, нахлобучил шапку:

— Никак засиделся. Пойду, прощай,—и взялся за дверную скобу. На сундуке остался сверток.

— Сверток забыл,—напомнила Маслова.

Шаров обернулся, на лице его была написана растерянность.

— Это тебе баба прислала, детишкам,—отворил дверь и шагнул за порог.

Недоумевающая Маслова развернула сверток: в нем оказался большой кусок сала и десяток яиц.

* * *

Собрание проходило вечером в школе. За ученическими партами, неловко сгибаясь, сидели колхозники и эвакуированные. Свет керосиновой лампы, поставленной на стол, освещал передние два ряда парт, дальше все тонуло в полумраке, и Червяков скорее угадывал, нежели видел, знакомые лица. Он стоял у стола, опираясь на его крышку кончиками пальцев. Речь свою закончил так:

— Вопрос ясен, не кому-нибудь, а своим бойцам поможем. И я думаю, среди нас не найдется ни одного человека...

Червяков заранее знал, кто и как отнесется к его сообщению о начинавшемся в районе сборе хлеба в фонд Красной Армии. Одни откликнутся охотно и дадут хлеб без возражений, другие будут мяться, прибавлять по пуду, по два, а найдутся и такие, что станут упираться, ссылаться на нехватки, сетовать, что надо бы пораньше, осенью об этом подумать, а сейчас, мол, у кого же хлеб! Он готовился убеждать, доказывать и это раздражало.

— Для почина, чтобы другим не было зазорно,—голос Червякова стал жестким, колючим,—начну с себя. Вношу из личных запасов,—он переждал секунду и еще жестче, словно озлясь, добавил:—десять центнеров пшеницы.

По комнате пронесся сдержанный гул удивления.

— По-богатому.

— Ему что, у него еще третьегодничный запас.

— А у тебя, поди, нет. Загляни-ка в закром, найдешь.

Червяков обмакнул перо в чернильницу, написал на чистом листе бумаги, лежащем на столе, свою фамилию и с особым удовольствием вывел цифру „10“.

— Присоединяйтесь, товарищи! Кто желает? Ты, Паша,—обратился к бригадиру Слепову, заметя его жест.

— Давай хоть я...

Слепов подошел к столу и тихо заговорил. Сидящие на задних партах не разобрали слов.

— Громче, Паша!

—...вон Шура семячки шелкает,—возвысил он голос, указав на сидящую в углу учетчицу,—девчата у окна пересмеиваются, что им, снаряды тут не рвутся, пули не визжат над головой, тепло, сухо. А там сейчас люди в снегу по брюхо елозят, в эдакую темень да стужу в атаку кидаются. Э, да что говорить! Кто там не был—не поймет.—Он повернулся к Червякову,—пиши: шесть центнеров пшеницы.

После Слепова пасечник, сердитый сухонький старичок, не вставая с места, заявил, что вносит также шесть центнеров. Потом бригадир огородной бригады Панкрат Зеленцов с обидой в голосе кричал, что у него на фронте убили старшего сына, и если не помочь армии, то немцы весь народ уничтожат.

— Без хлебушка не повоюешь,—кричал он в азарте,—в германскую войну застряли мы в мазурских болотах, обозы у чортовой матери порастеряли, сухари из вещевых мешков подьели. Больше недели кормились травой да грибами. Сдохнем, думали, животами замаялись, понос всех донял... Ничего смешного нет, —обозлился он, заслышав раздавшийся кое-где смех,—попробуй-ка посиди без хлеба.

После него агроном Николенко начал было пространную речь о единстве фронта и тыла, о том, что помогать Красной Армии—священный долг, но его перебил Червяков:

— Это все знают, ты короче: сколько?

— Пять центнеров.

— Вот, правильно.

Развеселил Шаров. Он медленно подошел к столу, снял шапку, пригладил редкие волосы на голове.

— Тут председатель и мы все, стало-быть,—начал он, но поймал на себе внимательный взгляд Масловой, сопнул и замолчал. Молчало выжидательно и собрание. В углу, где столпились девчата, кто-то хихикнул, кто-то откровенно засмеялся. У всех повеселели лица. Шаров нахмурился.

— Не смейтесь,—остановил Червяков, пряча, однако, сам улыбку,—сейчас он соберется с духом и скажет слово.

— Ему слово сказать, что родить,—отозвалась с места Евдокия.

— А тебе, что овес посеять,—осадил ее председатель,—раскидала куда попало, а там что выйдет... Ну, смелее, Яков Власыч! Сколько записывать?—обратился он к Шарову.

Шаров мял в руках шапку.

— Пиши,—сказал угрюмо,—за сына Алексея центнер пшеницы, за брата Василия центнер ржи, за племяша Ивана центнер овса... Как они в армии, за них и вношу.

— Сколько же всего?

— Сосчитай, не трудно.

— А за себя?

Шаров удивился:

— Ведь я сказал! Или нет? Значит подумал только. За себя три центнера пшеницы.

— Коротко и ясно,—одобрил агроном.

— Молодец!—похвалила Маслова.

Шаров сел на место, вытер шею и лицо клетчатым платком, потом, вспомнив что-то, вновь поднялся.

— Про бабу забыл. Боровка отдает. Сытый боровок.

Сказал, словно гору с плеч свалил. Опустился на парту, вынул кисет, не спеша свернул самокрутку и зачадил. И сидел, ссутулясь, молча до конца собрания, ко всему безучастный, равнодушный, всем своим видом показывая, что он свое дело выполнил, а остальные его мало интересуют.

— Еще кто выступит?—спросил Червяков и мельком взглянул на Маслову.

— Позволь мне,—попросила она слова.

Еще дома ткачиха долго придумывала—что внести в фонд армии. С Ксашей советовалась и, наконец, обе решили: отдать самую ценную и дорогую вещь, что удалось сохранить.

— От сыновей получила, им и отдам.

— Конечно,—одобрила Ксаша.

Анна Степановна подошла к столу, окинула всех взглядом и снова, как тогда на совещании в молочной, ее охватила теплая волна материнской ласки и любви. Три месяца живет она среди этих людей и знает—большие тяготы, великие муки и страдания терпеливо и стойко переносят они, чтобы только одержать победу над лютым врагом. Вот на передней парте сидит Катерина—тихая, скромная женщина, чудесная труженица и хозяйка. День-деньской она на ферме—о кормах хлопочет для коров, о телятнике, об удоицах, о чистых фартуках, а вернется домой—вся в заботах о детишках. Рядом с ней— сумрачная, молчаливая, похожая на монашку, Варвара Скудина—колхозный конюх. Проводила еще летом мужа на фронт и заняла его место: конюшит. Вон Соня Пряхина, Ксаше ровесница, совсем еще молодая; доверил ей колхоз все свои кладовые. „Аккуратная девушка,—отзывался о ней Червяков,—чтоб, скажем, мешок дать и забыть—ни-ни“...Вон Петр Петрович Перепелица—беженец из жизни, странник на этой земле. Сидит согнувшись, о судьбе, поди, своей размышляет. За ним Иосиф Казакевич загородил собой всех остальных. Далеко на юге еще осенью погибла его семья. Пыталась как-то Маслова расспросить его, он болезненно поморщился, ответил: „Как-нибудь после расскажу“. У каждого своя жизнь, свои печали...

— У меня на фронте пятеро,—начала Анна Степановна,—шестеро было, одного уж нет в живых. И если Шаров за сына да за брата воз хлеба внес, сколько же мне вносить за пятерых! Хлеба у меня нет, но сохранила я вещь одну...

Она расстегнула на груди вязаную теплую кофточку, достала из внутреннего кармана небольшой сверток в белой чистой тряпочке; разорвав зубами эту тряпочку, вынула сверточек поменьше, в тонкой папиросной бумаге. И осторожно развернула его. На ладони что-то блеснуло.

— Часы,—произнесла Катерина.

Все подались вперед, вытянули шеи, пытаясь получше рассмотреть. Анна Степановна держала на ладони золотые дамские часы.

— Подарок сыновний. Когда исполнилось двадцать пять лет совместной жизни с моим стариком, — продолжала она, — сложились наши сыны и подарили часы эти. Не расставалась я с ними, на груди носила. Велик был соблазн отнести в трудный год на базар, на муку да на масло сменить. Удержалась. „Нет, погоди, говорила себе, придет день, часы больше понадобятся“. И вот день этот настал. Черный ворон налетел на нас, наше тело клюет, землю поганит, детей наших губит. Сейчас ли золото беречь, сейчас ли жалеть, когда там жизни молодые, как береста на огне горят. — Голос ткачихи дрогнул, она повернулась лицом к Червякову, — бери, товарищ председатель, дар материнского сердца. Пусть это золото снарядами обернется, пулями отольется, пусть сыны наши бьют, не щадя, фашистов, давят их, гадов.

Она протянула часы Червякову, тот бережно принял, пожал ей руку.

— Такое теперь время, такое время, — произнес он взволнованно, — разве пожалеешь.

Маслова шла на свое место, провожаемая взглядами. Ее перехватила Мочалова, обняла, поцеловала:

— Хорошая моя, — произнесла она сдавленным голосом.

К Масловой с протянутой рукой тянулся через парту Перепелица.

— Вашу руку! Минин! — декламировал он, — патриотический порыв! Анна Степановна, потрясен. Боже мой, где мои золотые часы!

— Садись, — зашикали на него, — на слова только горазд, небось не отдал бы...

— Я! — запротестовал Перепелица, — клянусь!

— Тише, Евдокия что-то сказать хочет.

— Граждане, — заговорила по своему обыкновению громко Евдокия, — теперь нам что же делать? Золотые часы вот так взяла и выложила. Ведь это же корова! — вскрикнула она в отчаянии.

Червяков не удержался, захохотал:

— Ты бы не отдала.

— Корову? — Евдокия была ошеломлена такой мыслью.

— Жалко, — отозвалась Маслова, — это потому, что у тебя на фронте никого нет.

— Да разве я не человек, — запальчиво ответила Евдокия, — разве я не понимаю что к чему. Пиши — пуд!

— Оторвала, — усмехнулся Червяков, — людей не смеши, Евдокия. У Катерины детей полна изба и то три пуда записала, а ты...

Началось то, чего он не хотел — уговоры. Евдокия клялась и божилась, что больше „ну вот ни столечко“ дать не может.

Червяков обозлился, в сердцах крикнул:

— И не надо! Ничего не надо, без тебя обойдемся.

Евдокия опешила:

— То-есть, как не надо?

— Так. Красная Армия и без твоего пуда как-нибудь провоюет.

— Три пуда дам, пять,—Евдокия совсем растерялась.

— Ничего от тебя не надо. Мы не попрошайничаем.

В комнате наступила тишина. Взгляды всех были обращены на Евдокию. Она сидела красная, потная.

— Центнер пиши, председатель,— сказала она, чуть не плача, — центнер пшеницы.

— Кто еще желает?—спросил Червяков, не обращая на нее внимания.

Евдокия всхлипнула:

— Да что же это такое, господи!

Анна Степановна посмотрела на разгоряченное лицо Евдокии, вспомнила разговор о молоке и галошах и ей сделалось очень грустно.

IX

У Масловой онемели пальцы, затекли ноги, ныла спина. А вымя у Зореньки — набухшее, огромное—было еще тугое и плотное. Молоко в дойнице пенилось, пузырилось, от него шел приятный пряный запах.

— Когда конец, Зоренька? Совсем замучила. Раздоила тебя и сама не рада.

Маслова приостановила дойку, вытерла тыльной стороной ладони проступивший на лбу пот.

— Ну, ничего, отнесем полны дойницы в молочную, Шаров хмыкнет, скажет: „Опять впереди Степановна“. Опять! Евдокия, конечно, рассердится: „Подвох, скажет, подвох“. И пускай сердится. Позлим Евдокию, а? Позлим! Пусть и она надаивает, пускай добивается, правда?

Анна Степановна снова взялась за доение. Корова стояла спокойно.

В молочную Маслова пришла последней. Доярки уже собрались, сидели на скамьях, терпеливо ожидали, когда Шаров объявит дневной удой. Маслова поставила дойницы на пол, у стола, за которым сидел Шаров, шумно вздохнула:

— Устала. Задаёт Зоренька зорю.

Евдокия зыркнула глазами в дойницу, поджала губы. На одутловатом ее лице отразились досада и презрение. Она не хотела и вида подать, что ее интересуют и, тем более, беспокоят удои масловских коров. Но не могла подавить зависть:

„Опять ткачиха верх возьмет. Ну, постой, спесь сшибу, я тебя поставлю на правильную линию“.

По правде сказать, Евдокии было совершенно безразлично—сколько дает молока Ласточка или Зоренька, но слышать ежедневно сообщение Шарова о рекорде масловской Зореньки—было сверх ее сил. Да разве можно это перенести!

Вот и сегодня, после замера молока, Шаров помусолил карандаш, выпачкав губы фиолетовыми пятнами, записал в книгу удой и засопел:

— Маслова передом.

Евдокия фыркнула:

— Тут что-то неладно, ей-богу. Корма одни, водопой один, и уход,— откуда удои разные? Моя ли Ласточка не молочная! На выставку в район ходила, а тут на-ка: „Маслова передом“... Шаров даже не взглянул на нее.

Евдокия не унималась:

— Переметнулся заведующий на сторону фабричных. По-блажку им всякую оказывает. Я гляжу-гляжу, да и пожалуюсь.

— Кому?

— Найду.

— Зачем сердиться,— попыталась ее успокоить Маслова, чувствуя себя вроде виноватой перед Евдокией,— принеси завтра больше молока, радоваться буду.

— И принесу, думаешь твоя только Зоренька — корова, а у остальных собаки. Принесу!

И действительно, дня через два принесла Евдокия полную дойницу, прямо на стол перед Шаровым поставила.

— Куда!— запротестовал тот.

— Гляди, от Ласточки.

Шаров повел бровями:

— Это еще так-сяк.

Евдокия посмотрела торжествующе на стоявшую рядом Маслову: что, мол, взяла!

Маслова была сдержанна.

— Побила меня, на то и соревнование. Нынче—ты, завтра— снова я.

Евдокия ухмыльнулась.

— А бывало не приступишься, совсем затоптала.

На следующий день Ласточка еще больше дала молока. Шаров удивился.

— Ишь ты,— протянул он.

Евдокия ликовала:

— Думали Евдокию без варежек взять. Врете, она—как ёж, не дается.

А на третий день Поленова случайно увидела, каким способом Евдокия увеличивала удои своей рекордсменки: из дома в бадейке приносила молока да и подливала в дойницу.

Маслова только руками развела:

— До чего только народ не додумается. Кого обманываешь? Себя же, своих подруг. Нет, ты на чистоту действуй, старайся от коровы взять молока до последней капли. Раздаивай ее ненасытную, раздаивай брюхатую.

— Сама знаю, что делаю,— негодовала Евдокия.— Может, молоко домашнее я для вкуса прибавляла. Слава богу, пять лет на ферме.

— А я—пять месяцев, обидно, правда? Что же делать.. Была у нас на фабрике старая ткачиха, лет тридцать работала, а незадолго до войны из ремесленного училища пришли девушки, одна такая понятливая да толковая. Сделали ее бригадиром, старая ткачиха к этой девушке под начало попала—и ничего, не обижалась.

— А ну вас... с вашими фабриками и ткачихами! Соревнование, рекорды, тьфу! Ничего этого не знаю и знать не хочу.

Но не могла уже Евдокия выбиться из общего потока, не могла уже отставать.

— Ну, нет, голубушка,— ворчала она,— Евдокия себя еще покажет, ее косой не срежешь, лопатой не скovyрнешь... Не доглядываешь ты,—набрасывалась она на Шарова,— может Маслова приговор какой знает, коров наших заговаривает, портит, а тебе так и надо.

Шаров сопел.

Удои на ферме заметно поднялись.

* * *

Угром, только сели Масловы завтракать, в окно постучал Шурка—почтальон.

— Письмо вам.

Нежданно-негаданно прислал весточку Алексей. Он коротко сообщал, что после сдачи города ушел в партизаны, был тяжело ранен, пролежал два месяца в доме сельского учителя. Сейчас, после освобождения местности от немцев, находится в госпитале.

Слушая письмо (читала его вслух Ксаша), Маслова почувствовала внезапно сердечную боль. Схватила рукой за грудь, тихо застонала:

— Алешенька, родной мой!

— Что с вами, мамаша?— Ксаша испугалась, увидев побледневшее лицо свекрови.

— Ничего... Не легко матери терять сыновей. Читай.

„Скоро приеду, расскажу о многом,— заканчивал письмо Алексей,— хочется увидеть тебя, Сашеньку (все такая же непоседа?), Ксашу, ребят. Откровенно, по-человечески сказать, ужасно соскучился без вас“.

Маслова сидела сгорбившись, обрадованная и ошеломленная неожиданной вестью. Лицо ее было попрежнему бледно, по щекам текли слезы.

— Радоваться надо, мамаша, а вы плачете.

— Трудно, Ксаша, старому сердцу такие испытания переносить. Не чаяла, что жив Алешенька. Помнишь, про него отец говорил: „Башка“.— Она улыбнулась, глаза ее засияли внутренним светом.— Может, и Витенька вот так же найдется.

— Мамаша!— тоскливо воскликнула Ксаша.

— Ну, не буду, не буду.

Только позавтракали, пришел Слепов. От порога, не снимая шапки, сказал:

— Собирайся в обоз, Аграфена, хлеб дареный надо в район отвезти.

Аграфена у печи возилась с горшками.

— Куда мне от детей. На весь день отлучишься, а они как?

— Ну, некого, некого,— загорячился бригадир,—того нельзя, этого не трожь, кого же? Пусть хоть она едет,—кивнул он на Ксашу, чистившую у стола картошку.

Аграфена промолчала.

— Хорошо, поеду,— согласилась Ксаша,— только вечером у меня занятия.

Слепов не расслышал.

— Побыстрее, лошадей уже запрягают,— и заговорил за собой дверь.

— Все быстрее да быстрее,— ворчала Аграфена,— скоро ходить разучимся, так и будем бегать.

Ксаша поспешно надела шубку и вышла из дома вслед за бригадиром.

Конюшни были расположены посреди села, недалеко от пожарного сарая. Ксаша быстро шла по тихой, заснеженной деревенской улице, прислушиваясь к скрипу снега под ногами, и в такт шагам мысленно твердила:

„Вот и я, вот и я... Скоро в школе начнутся занятия, буду каждое утро ходить, учить ребят арифметике. Может, легче станет, может, растает тоска моя. Как тяжело грустить в такие годы...“

Вздохнула и прибавила шаг.

Первым у конюшни Ксаша увидела Иосифа Казакевича. Он стоял во весь рост в саях, заиндевелый, длиннородый, похожий на древнего патриарха, и кого-то вполголоса распекал:

— Ой, ну какой же вы нехотеха,— говорил он недовольно.— Встали бы пораньше и не задерживали бы теперь людей.

Возле других саней возился Петр Петрович.

— Я не специалист по конному делу,— оправдывался юрист.— Зачем же меня посылают? Ну, скажите, к чему эти ремни? Не понимаю, абсолютно не понимаю.

— Вы не хотите понять,— Казакевич соскочил с саней, подошел к Перепелице, слегка отстранил его рукой:— если захотеть, ой, чего только нельзя сделать. Давайте запрягу.

— Пожалуйста, честное слово, никогда в жизни...

— Не смешите меня. Вы думаете, я был когда-нибудь конюхом? Во рту у пациентов лошадей не найдешь. Я вставлял челюсти, это, скажу, тонкая работа. А лошады! Ой, зачем она, когда я имел велосипед и жена имела велосипед?

— Значит, у вас способности, а у меня их нет.

— Я вам расскажу про свои способности. Когда мне было лет десять, я упал с моста в речку и стал тонуть. По-настоящему тонуть. Кричу: „Спасите“. А кругом, знаете, ни души. Тогда я сказал себе: „Еся, если хочешь жить, не тони“. Начал потихонечку барахтаться и ногами и руками, брюхом, и, представьте,— выплыл!.. Сейчас война. Говорят, нужно быть конюхом, хлеб возить государству. Пожалуйста! Какой может быть разговор! Конюх, так конюх, про коронки пока забудем... Получайте кобылу,— протянул он юристу вожжи,— только не падайте.

Ксаше дали подводку, все уселись, тронулись к амбару. Томительно долго взвешивали зерно, насыпали в мешки, укладывали в сани. У Казакевича замерзли ноги, и он, чтобы согреться, принялся помогать в погрузке. Распоряжался всем Слепов.

— Аккуратнее, граждане, душевно прошу,— убеждал он, — бросишь мешок, лопнет и будешь по снегу до станции сеять.

Пришел Червяков, взял пригоршню зерна, любовно пересыпал с ладони на ладонь.

— Золото, чистейшее золото. Такой хлеб на Кубани родится да у нас на Волге. В мире лучшего не найдешь. Недаром Гитлер пасть раззевал на нашу державу.

— В чужих руках калач слаще, — отозвался Слепов, — что ты сказал?

— Был у меня пациент, — заговорил Казакевич, — директор средней школы, немцы повесили его на дереве в школьном саду. Так он, покойник, говорил: „Счастливые мы с вами, Иосиф Захарович, что живем в такой стране, как наша. Что это за страна! Чего только в ней нет. Хлеба хотите?— Пожалуйста. Уголь?— На те. Нефть?— Можем и нефти дать. Железо, лес, мясо, рыба?— Сколько надо! Поищите еще такую другую страну. Гитлер, собака, знал, куда идет.

— Плохо он знал, сукин сын, — выругался Червяков. — Все его планы кувырком полетели.

— Я вам скажу, в России этим завоевателям не везет, — Казакевич усмехнулся. — Кинутся на нашу землю — ух, вот-вот проглотят, и давятся.

— Россия, — тихо произнес Червяков.

— Народ, — в тон ему сказал Слепов, — это же страшная сила. Народ только вздохнет, а всюду ветер поднимается.

— Правда, настоящая правда, — поддержал Казакевич. — У меня был знакомый аптекарь, так он говорил...

— Тоже в живых нет? — спросил Червяков.

Подвижное лицо Казакевича омрачилось:

— Как-нибудь расскажу я вам, товарищ, как немцы людей убивали. Я сам видел! Да что видел! Я должен там быть, — он выразительно показал себе под ноги, — я был под расстрелом.

— Ну! — удивился Червяков, — и как же...

— Сердце горит, не могу об этом спокойно говорить, — Казакевич отвернулся.

— Н-да, — задумчиво протянул Червяков, — дела.

Помолчали.

— А ну, скоро что ли? Выезжать пора.

В районное село приехали в обед. Хлеб ссыпали на складе Заготзерно, получили квитанции, повернули в обратный путь. Ксаша заехала на машинно-тракторную станцию к Сашеньке. Та была дома, чинила белье. Увидела Ксашу, кинулась к ней на шею, обе заплакали.

— Какое несчастье! Ах, какое горе! — причитала сквозь слезы Сашенька. — Я как узнала, думала сама умру. Бедная ты моя.

Усадила Ксашу, говорила плачущим жалобным тоном.

— Витенька был роднее всех братьев. Если бы кто-нибудь другой, кажется не так бы жалела.

Узнав о том, что нашелся Алексей, мгновенно преобразилась.

— Вот это новость. Какая радость! Милая моя, Ксашенька, как все это замечательно!— Она затормошила Ксашу, порывисто обняла, прижалась щекой к щеке. Отстранилась, взяла Ксашины руки в свои, крепко жала:

— Ну, как я рада тебе. Спасибо, что заехала. Скоро Максим придет, будем обедать. Нынче уже отзанимались. Интересно! В тракторе мотор — это так сложно, думала, не запомню и не пойму никогда. Система зажигания! Ой, как мучилась! Знаешь, приду домой и реву, честное слово. Максим и стыдил и ругал. Поставил меня на ремонт ЧТЗ, знаешь, как трудно! Учись, говорит, будешь моей помощницей. Он ведь лучший четелист!

Была Сашенька по-молодому счастлива и в счастье своем эгоистична. Жила она с любимым человеком, увлекалась тем делом, которым увлекался и он; ей теперь казалось — нет дела важнее и нужнее, чем работа на тракторах. Она постоянно испытывала волнующую приподнятость, и это ее душевное состояние не могли нарушить никакие потрясения. Смерть Виктора, как облако на небе в летний день, только на короткое время омрачила ее безмятежное бытие. И вот она снова прежняя, беззаботная хохотуша Сашенька. Она непринужденно болтала, через каждые два-три слова упоминала Максима.

Это не понравилось Ксаше.

„Как кошка вцепилась в парня,— с неприязнью думала она,— только и слышишь: Максим да Максим. Конечно, что ей! Муж—рядом, дело нашла по душе. А у меня—ни мужа, ни дела. Повезло Сашеньке“. Тяжелое чувство зависти шевельнулось в душе.

Пришел Максим, приветливо поздоровался, расспрашивал про деревенские новости.

— Слышал, слышал,— сдержанно произнес он, когда вспомнили Виктора,— много там останется.— Удивился, услыша о взносе Масловой.— Часы золотые? Ого, вот это теща! Привет особый передай. Такой тещей гордиться можно.

После обеда Ксаша заторопилась:

— Пора. К вечеру надо домой попасть, я ведь тоже учусь, курсы агроном затеял. Не знаю, будет ли толк... А после нового года в школе занятия поведу. Да, вспомнила, мамаша ниток просила купить, совсем оборвались.

Собралась, уехала.

Кобылка, отдохнув, поев сенца, бежала споро. Миновала мельницы, обогнула выдавшийся подковой пруд; вот и плантация с торчавшими из снега побуревшими помидорными кустами. За плантацией потянулась степь. Насколько хватал глаз, растилалась она кипенно белая, строгая в своем однообразии. Можно любоваться степью в тихий морозный день, а можно и затосковать, глядя на ее бескрайные просторы.

„Так и в жизни моей, как в степи, неприветливо и скупо,— думала Ксаша, равнодушно смотря на степь.— А почему? Чем я хуже Сашеньки? Для нее будто и войны нет, беда стороной обходит. Вот и Алексей нашелся, а Виктор!.. Неужели для меня солнышко не взойдет? Неужели жизнь кончилась?“

Вспомнила, как недавно, выйдя к речке за водой, встрети-

лась с Перепелицей. Заговорил, пытался услужить, ведра донести, смотрел пристально, ласково.

„Он?.. Нет, — сама же отвергла пришедшую мысль, — с таким жить не улада. А где взять других?“

Думы невеселые приходили на ум. Молодое счастье Сашеньки не давало покоя.

* * *

Чем больше узнавала Маслова людей — Червякова, Шарова, Катерину, тем больше проникалась к ним уважением. Справляли они свое дело неторопливо, будто даже с некоторой ленцой; так ей казалось, когда она сравнивала спокойную, дремотную жизнь колхоза зимой с кипучей, напряженной жизнью фабрики. А работа шла, дела двигались. Как-то почти незаметно Шаров привел в порядок сгоявшую неподалеку от фермы старую баню, приспособил ее под телятник. В колхозной мастерской колесник ладил колеса, плотники строили телеги, около кузницы вверх зубьями стояли уже починенные бороны — колхоз готовился к весне. Все это видела Маслова, и ее радовала спокойная неторопливость людей, знающих, что они должны делать, и совершающие свои дела хозяйственно, домовито.

Как-то утром, принимая удой, Шаров, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Не расходитесь, коров будем обучать.

— Всех? — спросила Катерина.

— Сам скажу которых.

После приема удоя он обошел, в сопровождении доярок, стойла, кивком головы показывая на корову, коротко отдавая распоряжение:

— Выводи.

Когда дошли до Зореньки, остановился, мельком взглянул на Маслову, в раздумьи сказал:

— Пожалуй, оставим, — и шагнул прочь.

— Ее не будем запрягать? — спросила Маслова, скрывая невольную радость.

Шаров не ответил.

Из десятка Масловой он наметил к обучению шесть коров. Две оставленные были стельны, одна больна, Зореньку оставил, как объяснил потом, „по продуктивности“.

Обучали на широком заснеженном поле позади фермы. Коров подобрали парами — по силе и норову. Подружка из десятка Масловой пошла в паре с Диковинкой из числа закрепленных за Евдокией. На коров одели специальные хомуты, вместо бороны к построкам привязали толстую корягу. Коровы пошли спокойно, будто всегда ходили в хомутах.

Ольга подтрунивала:

— Хозяйкам бы так ладить. Смотри, как дружно идут.

Евдокия поджала губы.

— Им делить нечего.

— А нам что делить? — удивилась Анна Степановна. — Скажи: силен в людях бес, людьми он, как вениками, трясет.

— Я не ведьма, — вспыхнула Евдокия, — ежели ты...

— Будет! — прикрикнул на нее Шаров, — губы заморозишь. Давай следующую пару.

В следующей паре шли Юла и Касатка — обе из десятка Ольги. Касатка долго не давала одеть хомут. А когда запрягли, заартачилась Юла. Нагнув голову, уперлась ногами в землю, потом вдруг взбрыкнула и метнулась в сторону, увлекая за собой напарницу. Это очень не понравилось Касатке и она, мотая головой, сердито замычала. Юла, пытаясь сбросить с шеи непривычный хомут, начала кружиться на месте, запуталась в постромках и упала.

— Я же говорила, не пойдут, — сказала Ольга. — Выпрягай

— Обожди, — остановил ее Шаров. Подошел к плетню у фермы, вырвал хворостину, вернулся обратно и, размахнувшись, стегнул корову по спине. Юла встала. Шаров ударил еще раз. Юла, точно недоумевающая, рванулась вперед. Касатка за ней. Смешно и неуклюже переваливаясь, тряся выменем, обе коровы побежали по заснеженному полю; позади их, пугая и еще более подгоняя, подпрыгивала коряга. Рядом семенил Шаров и молча остервенело бил коров хворостиной. Лицо его было сумрачное, зло ощерились зубы. А за ним, не поспевая, задыхаясь, бежала Ольга и неистово кричала:

— Коров загонишь, идол!

Пробежав с полсотни сажен, коровы перешли на шг и, утомленные, утихомирившиеся, тяжело дыша, спокойно пошли покорно волоча за собой корягу.

Шаров отбросил обломанную хворостину, снял шапку, вытер рукавом вспотевший лоб и, переведя дыхание, сказал подбежавшей Ольге:

— На бороновке спасибо скажешь.

— У-у, не глядела бы, — зло огрызнулась Ольга, — замаял коров, поди, получай теперь молоко.

Шаров засопел, ничего не ответил, отвернулся:

— Следующих давайте!

Х

Все произошло быстро и неожиданно. Еще утром Анна Степановна была на ферме, доила коров, поила разбавленным молоком родившегося минувшей ночью теленка, о чем-то поспорила с Евдокией. Вернувшись домой, кормила ребят, беспокойно смотря на Валю. Девочка снова тревожила. Бледное личико ребенка похудело, глаза казались еще больше, во взгляде — недетская задумчивость. Анна Степановна притянула к себе Валю, прижала к груди.

— Что с тобой, капелька, что болит, скажи?

— Ничего, — ответила девочка.

Была она тихая, покорная, не баловалась, как остальные ребята, и это пугало Маслоу.

— Как свеченька тает.

Потчевала Валю лапшей, предлагала молока, но девочка равнодушно смотрела на пищу, кушала нехотя.

— Сиротка моя.

Взялась было Маслова чинить детское белье, явился Егорка в правление зовут. Недоумевая, как и в прошлый раз („зачем могла понадобиться в неурочный час?“), беспокоясь („а вдруг опять недоброе“), отправилась. Шло заседание правления.

— Садись, садись, — Червяков пододвинул стул, — из района пришла телефонограмма, — сообщил он несколько торжественно, — требуют послать делегата на областной съезд животноводов. Ну мы — прямо сказать — Катерину наладили было, а она наотрез отказалась: ребят, мол, не на кого оставить, то-се, решили тебя на съезд послать.

— Своих-то лучше не нашли?

— А ты чем плохая? Удои твоих коров высокие, доярок взбудоражила. Поезжай, город поглядишь, о себе расскажешь, нас помянешь. Про Евдокию, про соревнование не забудь.

— Рассказчица я плохая.

— Сумеешь, не скромничай. Через часок и выезжай, а то к вечернему поезду не поспеешь.

Маслова была ошеломлена не столько посылкой на съезд, сколько предложением выехать немедленно.

— Как же это вдруг, ровно птица, — лети. В баньке помыться надо бы, бельишко постирать, каких-нибудь лепешек на дорогу.

— А ты по-солдатски, — улыбнулся Червяков, — рубашку в мешок, кусок хлеба за пазуху — и готов. В бане в городе вымоешься, там бани не нашим чета.

— Все-таки для порядка, перед дорогой.

— Ступай, Степановна, не мешкай.

Она вышла из правления, остановилась у крыльца.

— Придумали, — качнула головой, — на съезд посылают. Чего достигла старая ткачиха, ну - ну, — поразилась, словно сама на себя со стороны посмотрела. — Витенька не знает, вот бы удивился.

Она зашагала поспешно к дому, вполголоса сама с собой рассуждая:

— Ткачиху Маслову выбрали. Значит, есть за что! Толь ко не зазнаваться, Анна, ни-ни!.. Зря все-таки посылают, Катерину надо бы. Разве отказаться?

Через час ее вез по степи Казакевич. По дороге разговорились — свою довоенную жизнь вспоминали.

— Что Мариуполь, что Таганрог — не города — мечта, картинки, — говорил Казакевич. — На улицах — белые акации, весной как зацветут — голова кружится. А воздух, а климат! Брось лоскут на землю — рубашка вырастет. Знаете, товарищ Маслова, ну что за фигура зубной техник! А жил я, как министр. Чтоб у меня не было к завтраку сливочного масла и булочек! Ой, это было бы событие на всю улицу. Ко мне на прием приходил сам председатель горсовета, так знаете он говорил...

— И мы жили, — перебила его воспоминания Маслова. — Бывало сойдутся все в выходной день, сядут за стол, мой ста-

рик усы покручивает, да посмеивается: войско! Пять сынов, один одного краше, как дубочки.

За разговором не заметили, как проехали двенадцать километров. На станции железной дороги Маслова встретила со знакомым зоотехником из земельного отдела.

— Рад вас видеть. Вместе едем.

— И вы на съезд?

— А как же, — самодовольно ответил зоотехник, — наш район в первом десятке по области. Вас благодарить надо, товарищ Маслова.

— За что?

— Если бы вы и вам подобные плохо работали, я бы не попал в делегаты, факт. Ваши успехи определяют наши способности руководить хозяйством... Вы за билетом заняли очередь?

* * *

В большой приволжский город приехали днем. Зоотехник узнал, в какой гостинице приготовлено общежитие для делегатов, где и когда начнется съезд, в каком часу обед, разыскал высланный к вокзалу автобус, словом, оказался предупредительным и нужным попутчиком.

В общежитии Анна Степановна встретила с делегатками. Это были простые деревенские женщины—доярки, телятницы, свиарки, такие же, каких видела у себя на ферме, и разговоры вели такие же, какие слышала ежедневно. Одна только совсем еще молодая, со светлыми выщипанными волосами, соседка по койке обратила на себя внимание. И речью, и одеждой, и манерой держаться она отличалась от остальных.

— Трегуб, — представилась она, протягивая руку Масловой. — Вы колхозница?

— Нет, я эвакуированная ткачиха.

— И стали дояркой! Я вот тоже совершенно неожиданно стала птичницей. Сказали бы мне полгода назад, когда я служила товароведом у себя в Житомире, что буду выращивать колхозных кур, я бы того сумасшедшим назвала...

Женщины разговорились.

— Чего скрывать, непривычно для нас это дело. Вначале плакала, — рассказывала Трегуб, — на ферму по два дня не ходила, а потом привыкла, ничего, пошло дело.

Анна Степановна о своей работе сообщила.

— В наших судьбах много общего, — вслух подумала Трегуб, — война все перепутала.

После обеда они отправились гулять по городу. Он произвел на Маслову странное впечатление. Всюду — следы военной страды и тяжелых народных испытаний. По широким прямым улицам бесконечным потоком переливались людские волны. Слышалась украинская, белорусская, еврейская речь. Встретилась группа молдаван в высоких бараньих шапках, прошел черноусый красивый грек из Одессы. Попадалось много военных. Оглашая воздух ровным гулом мотора, проносились огромные американские грузевики. На нескольких машинах

проехали курсанты танкового училища; они сидели на скамьях, плотно, как патроны в обоймах. На заборе во всю длину надпись белилами: „Все силы народа—на разгром врага! Смерть немецким оккупантам!“

Впереди шли две гражданки и до слуха Масловой донесся обрывок их разговора:

—... манку по детским карточкам давали и, представьте, никакой очереди.

— А вчера мясо отоваривали, не досталось, такая досада.

— Трудно сейчас в городах, — вслух подумала Маслова, — тесно, мается народ.

— Меня, знаешь, что больше всего поражает, — отозвалась Трегуб. — Цепкости! Полсотни наших областей немец забрал, миллионы наших людей в неволе, на полоненной земле остались. Это ужасно, это страшно. Одно это могло бы старую Россию свалить. А мы не только не свалились, мы живем, мало того, строим. Это чудо! Мы с тобой на съезд приехали, будем обсуждать вопросы животноводства. Брат недавно из Сибири письмо прислал—тракторный завод в степи возводят. Вот что удивительно, Анна Степановна.

— Живуч наш народ, это ты верно сказала. Иногда лето бывает дождливое, травянистое. Трава в лугах такая — верховой едет, шапку только видать. Пройдет стадо, след широкий позади оставит, траву в землю втопчет. Ну, думаешь, пропал покос. А дождь брызнет, солнышко проглянет—трава вновь поднимется и вокруг зелено, пахуче. Так и народ наш, его ни огнем, ни железом не возьмешь. Да и то сказать: ты меня на части рви, руки, ноги отруби, глаза выколи, но коль я русская, немкой ты меня не сделаешь.

— Силы где берутся?

— Силы! Червяков, наш председатель, рассказывал: в ту войну с немцами, в первый же год в деревне нищие появились, бобылки-солдатки голодали, посевы раз в пять уменьшились. А ныне война серьезнее, на селе почти одни женщины, а сеять хотят больше прошлогодного. Артель! Все наше государство—большая артель, попробуй-ка, одолей ее. Один, говорят, горюет, а артель воюет. Такого товарищества, как у нас, в миру нигде никогда и не бывало.

— Это правда,—согласилась Трегуб.

* * *

Анна Степановна сидела рядом с Трегуб и внимательно слушала докладчика. Тучный, с нездоровым дряблым лицом, заведующий областным земельным отделом подробно рассказал, на сколько процентов убавилось в области лошадей и овец и на сколько увеличилось поголовье рогатого скота и свиней, сколько сдано государству мяса и шерсти. Он говорил долго, приводил цифры, называл фамилии лучших животноводов, обстоятельно сообщал о том, чего ждет страна от деревни.

И снова, как тогда, на заседании колхозного правления, поразило Маслову многообразие творимых в деревне дел. И

снова увидела она, как труд простых и неизвестных людей чудесным образом вплетается в великую народную борьбу, укрепляя растущие силы воюющей страны. После перерыва, в прениях выступил благообразный старик—конюх, затем высокий угрюмый чабан, заробевшая телятница, и каждый из них по-своему, каждый по-разному говорил в сущности об одном: что сделано в их колхозе, в их деревне для разгрома врага. И перед мысленным взором ткачихи стали возникать картины деревенской жизни:

...в степи пасутся отары овец. Женщины длинными криками ножницами стригут шерсть. Связанные животные лежат покорно на примятой траве. Шерсть сваливается клубками. Старый чабан собирает ее граблями и потом, прижимая к груди, как охапку сена, несет к себе в землянку и бережно складывает в ларь. И вот огромные, спрессованные, зашитые в белый холст тюки шерсти доставлены на станцию железной дороги, отсюда отправлены в город на фабрику, и уже мчатся на фронт вагоны с валенками и теплыми фуфайками. И, может быть, один из ее сыновей обул сейчас эти валенки и добрым словом помянул людей, изготовивших их.

...на огороженном дворе отдыхают откормленные свиньи, сонно жмурят заплывшие жиром глазки, блаженно хрюкают. И вот огромные туши, вздетые на крюки, висят в холодильнике мясного комбината. Потом разделанные, разрубленные на куски, сдобренные специями и приправами, приготовленные опытными мастерами - кулинарами поступают в экспедицию тысячами банок консервов, бидонами мясного бульона. Бульоном кормят больных детей и раненых, консервы, в одном составе со снарядами, идут на фронт. И, может быть, другой ее сын, сидя сейчас в блиндаже на переднем крае, откупорил банку консервов, закусил свининой и тоже добрым словом помянул тружеников далекого тыла.

Маслова окинула взглядом зал, и горячая волна восхищения и благодарности наполнила ее душу. Эти сидящие вокруг нее пастухи, доярки, конюхи, самые обыкновенные русские крестьяне буднично и просто совершали ежедневно подвиг, они все отдавали для Красной Армии, для фронта. Было приятно сознавать, что и она, старая потомственная ткачиха, в их числе, и она тоже вносит свою долю в общенародное старание. Вспомнились и свои люди—Шаров, Катерина (как-то они там без меня?) и ей захотелось рассказать съезду о том, какие это старательные труженики, как хорошо сейчас у них на ферме ладится дело.

Слово Масловой предоставили после молодежового профессора с подстриженной бородой, пространно и округло говорившего о кормах. Она не помнила, как шла между креслами к сцене, как поднялась на трибуну. Зал исчез, она смотрела на сидящих в креслах людей и не видела их. Она была одна на людях со своими мыслями.

Лет пять назад на ткацкой фабрике проходило совещание стахановцев. Так же был залит огнями зал клуба и так же в кре-

слах сидели люди, готовые слушать ее. Она стояла на трибуне и не знала, с чего начать. Помнится, во втором ряду сидела мастер их отделения—Мария Петровна—маленькая, сухонькая женщина в очках, и Маслова, глядя на нее, заговорила легко и просто о своей работе, о том, как обслуживает четыре станка. И на миг ей представилось, что не было этих быстро пролетевших пяти лет, нет войны, никуда она не выезжала из родного города и происходит не съезд животноводов в незнакомом ей волжском городе, а совещание стахановцев на фабрике.

Анна Степановна подняла глаза, увидела сидящих в зале людей: все те же простые русские лица. И заговорила так, как говорила тогда, пять лет назад, на рабочем собрании:

— У нас на фабрике такой был заведен порядок: если договорились делать что-нибудь—так без отказа.

Сидящий за столом в президиуме черноволосый член правительства, с орденом в петлице, повернул в ее сторону голову. На нее смотрел и докладчик, болезненный, полный человек, сидящий рядом с черноволосым. Ее слушали в президиуме, слушали в зале. На мгновение Маслову охватила оторопь: „А вдруг не то скажу, что надо? Запнулась было, но черноволосый подбадривающе кивнул головой, и она продолжала. Рассказала обо всем: о производственном совещании, и о первой дойке, и как Зоренька опрокинула дойницу, и как заболели телята и их отпаивали черным кофе с молоком; упомянула и Евдокию.

— Сказать вам по секрету, товарищи, где я коров раньше видела? На скотных базарах! Боялась, ну-ка, думаю, рогами подцепят. Городские мы люди. Но попала на ферму, сказала себе: „Назначили тебя, Анна, дояркой, не ударь лицом в грязь, покажи, что такое рабочий класс“. И теперь могу сказать, товарищи, Евдокию пережаю. Злитесь, ух злитесь, а мне это и надо. Злая она лучше работает, тянется за мной, и такие у нас пошли удои—больше нашего ни в одном колхозе нет.

— Как этого достигли, расскажите, — попросил черноволосый.

— Как? Наш заведующий Шаров — особенный человек. Утром начнет обуваться, к обеду обуется, зато так сапоги оденет,—потом с ноги не стачит. Все устроил, что советовали ему. Человек не гордый, только надо умеючи повести дело, чтобы не заметил, что его подталкивают, а будто он сам догадался. У каждого человека, как бы это сказать, вроде жилы слабой, найди эту жилу, и человек обернется к тебе всей душой, всем сердцем к тебе потянется. Катерина! Скажи ей ласковое слово, похвали—разорвется, сделает. А Евдокию, эту подзадорить надо, обзлитесь, рога чорту свернет.

Масловой долго и шумно аплодировали. Сидящие в зале доярки и телятницы, конюхи, чабаны признавали за ней, старой ткачихой, право считаться лучшим животноводом.

Когда вернулась на место, Трегуб похвалила:

— Замечательно говорила.

— Ну?—не поверила Маслова.

— Честное слово, лучше всех.

XI

Занавес медленно опустился. Маслова сидела неподвижно, устремив глаза на сцену, где только что хор певцов, одетых в старинные одежды, славил великий русский народ.

— Понравилось?—спросила Трегуб.

— И не говори... сказка.

— Это не сказка, а быль. Все было, как на сцене показали.

— Геройский старик. И сейчас таких много. Сын Алексей недавно письмо прислал...

Вышли на улицу. После духоты в театре, охватила прохлада. Было приятно вдыхать чистый свежий воздух. Под ногами с легким хрустом ломался тонкий ледок. Настороженный лежал город. Он был полностью затемнен. Не горели уличные фонари, безмолвно, с задрапированными окнами стояли дома. Автомашина с закрашенными фарами, как огромная ящерица, зашипела мимо на асфальте. Трамвай, прикрыв фонари, заскрежетал по рельсам. Прохожие встречались редко.

— Не нравится мне город вечером,— произнесла Маслова,— сразу чувствуешь — война.

— А жизнь идет, вот мы оперу слушали... Удивительное существо человек, — рассуждала Трегуб, — много ли звуков, а гляди, что человеческий талант создает. Слушаешь музыку и на душе становится просторно, светло.

— В веселый час и смерть не страшна.

Мимо поспешно прошли двое военных. Маслова услышала обрывок разговора:

— Узнали дорогу мерзавцы.

— Забудут, отучим.

Обогнала женщина. Маслова перехватила ее взгляд—взволнованный, растерянный. Шедшие немного впереди девушки вдруг побежали, и дробный стук каблуков гулко раздавался на пустынной улице. Трегуб стала серьезной.

— Что-то случилось. Постой, постой, слышишь?

Со всех концов города явственно доносились короткие прерывистые заводские гудки.

— Тревога!

— Этого еще не хватало,—Трегуб подхватила Маслову под руку,—может успеет, проскочим.

На углу их задержал постовой милиционер.

— В садике у театра — щели, вернитесь.

— Нам недалеко,—возразила Трегуб.

— Вам говорят.

В этот момент близко, разрывая воздух, ударили зенитки, и над головами, шурша, словно волоча за собой куски шелка, взметнулись ввысь снаряды.

— Дождались,—осуждающе, таким тоном, словно женщины были во всем виноваты, произнес милиционер,—прячьтесь, что же стоите!

Не выпуская руку Масловой, Трегуб кинулась обратно.

— Куда спрятаться! Вот, Анна Степановна, попали мы с тобой.

В нескольких шагах впереди бежала женщина с „авоськой“ в руке, за ней спешил старик. Оба исчезли в воротах, туда же метнулись и Трегуб с Масловой. Очутились во дворе, узком и длинном, как коридор. Слева высилась отвесная кирпичная стена соседнего дома, справа деревянные сараи с навесом. Все встали под навес около сараев.

— От осколков уберемся.

— А если в дом угодит, всех накроет.

— От смерти не уйдешь. В нашем городе был случай—спрятались в подвал, а бомба прямо в окно, все на месте остались.

Зенитки били в разных концах города. Резкие звуки стегали воздух.

— Что делается, ужас, — пугливо вздрагивала стоящая рядом с Масловой женщина с „авоськой“.

— Это наши стреляют,—успокоила Маслова.

— Хлеб получила, к сестре зашла и задержалась, а дома детишки, поди, ждуть устали,—сообщила женщина.

— В такое время по гостям не ходят.

— Я не в гости, сестра родила.

— Выдумала тоже,—фыркнул старик.

Высоко в ясном небе родился металлический гул. Он постепенно нарастал, становился гуще, плотнее.

— Летят,—прошептала Маслова и инстинктивно прижалась к Трегуб. Уже не первую бомбежку переживала Анна Степановна. В своем родном городе она видела много вражеских налетов. И каждый раз испытывала странное чувство, которое не могла бы выразить одним словом. То не был страх. „Убьют, ну что делать,—рассуждала она,—умирать надо когда-нибудь“. Угнетало сознание собственного бессилия.

Однажды на ее город фашисты налетели днем. Стояла солнечная теплая погода, на улицах было обычное оживление, в садике, напротив фабрики, в песке играли детишки; звонкие их голоса доносились через открытые окна. И вдруг завывла сирена, короткими прерывистыми гудками закричал гудок. Маслова выглянула в окно, увидела: детишки, напуганные не столько гудками, сколько тревожным зовом воспитательниц, бежали беспорядочной толпой по аллее, толкая и сшибая друг друга. А на песке, где только что все играли, сидел оставленный впопыхах трехлетний мальчик. Он испуганно озирался по сторонам и на его пухлом нежном личике были изображены недоумение и растерянность. Вот таким маленьким, брошенным ребенком чувствовала себя каждый раз старая ткачиха. Что она, мать большого семейства, умудренная житейским опытом женщина, могла сделать в эту минуту, стоя около деревянного сарая? Над головой кружились вражеские самолеты, каждую секунду можно было ожидать падения бомбы. „Сейчас грохнет—и всему конец“—думала Маслова.

В небе вспыхнули яркие ракеты, похожие на огромные лампы. Все вокруг озарилось голубым сиянием и приобрело фантастические очертания. Четко, как вырезанная, проступила

кирпичная стена дома, был виден каждый кирпич, неровный слой известки. Маслова подумала: „Не видала никогда такой стены“. Груда камней, сложенных у сарая, и мусорный ящик с оторванной наполовину доской походили на театральные декорации, а консервная банка, валяющаяся около мусорного ящика, так ярко блестела, что Маслова в первую минуту обозначилась: „кто-то зеркало обронил“. И все это—внезапно изменившиеся предметы, и нежное голубоватое сияние ракет, и металлическое урчание, и лопающиеся звуки выстрелов—все было так неестественно, непривычно, что Масловой казалось выдуманным. Бывает так: видишь тяжелый сон, мучаешься, страх испытываешь, но усилием воли разбудишь себя, и виденье исчезает. Может, и сейчас надо только захотеть—и все это сразу исчезнет. Маслова, не отрываясь, смотрела на ракеты.

— Придумали, подлецы, весь город на ладонке... Сейчас бомбить начнут.

Женщина с „авоськой“ бессвязно и торопливо зашептала обрывки молитв: „Владычица, господи, спаси и помилуй“.

Маслова взглянула на нее, увидела серое утомленное лицо с морщинками около губ, выбившуюся из-под платка прядь волос, застывшие в страхе глаза, и ей стало жалко женщину.

— Я не такие налеты видала и ничего—жива.

— Детишки дома,—в безумии говорила женщина.

— Наперед умнее будешь,—жестко произнес старик.

— А вы, гражданин, вместо того, чтобы утешить...—хотелось Масловой отчитать его, но сдержалась, только добавила,— не все же умные, как вы.

Старик ответил колкостью, Маслова возразила, вспыхнула ссора.

— Будет вам, — остановила их Трегуб, — нашли время ругаться.

Гул постепенно затихал, отодвигался от центра города. Уходила в сторону и стрельба. Как тяжелые вздохи, доносились глухие звуки разрывов. И так же внезапно после гула и грохота наступила тишина.

— Пойду,—решил старик,—кажется отбили,—и зашагал к калитке.

— И я пойду,—встребенулась женщина,—мне только пять кварталов, побегу.

— Пошли,—заявила Маслова.

Вышли на улицу. Как обведенные тушью, высились здания. Блестящими струями текли вдаль трамвайные рельсы. Четкими линиями прорезывали воздух провода. Над городом плыла тихая весенняя ночь. И было все, как обычно в эту пору: с Волги тянуло легким свежим ветерком, еле различимый доносился запах старых лип из городского парка. Высоко в небе стояла круглая луна, пониже ее, вся в воздухе, горели ракеты, освещающая большой старинный город. Было трудно представить: как этот огромный красивый город мог бы превратиться в груду бесформенных развалин. Многие видал он на своем веку: и

Стеньки Разина струги, и пугачевские пушки, давшие залп с окрестной горы по городскому валу, и Петра, встретившегося здесь с калмыцким ханом, и народное ополчение в двенадцатом году, и рабочих дружинников, стрелявших в Октябрьские дни по городской управе, где засели эсеры. Но такого вражеского воздушного налета еще не переживал.

Женщины шли молча по улице, каждая занятая своими мыслями. Мимо пронеслись пожарные машины, блеснули и погасли каски пожарников.

— Где-то горит.

Близко ударила зенитка, еще и еще, ей отозвались другие, слева, дальше, больше, и сразу, как четверть часа назад, надвинулся вибрирующий металлический гул.

— Опять!—вскрикнула Трегуб и потянула за руку ткачиху. И тут произошло такое, что Маслова помнила долгие годы.

Впереди, квартала за два, на крыше каменного здания внезапно расцвел огромный огненный бант, кирпичная стена здания, словно подрезанная, накренилась, медленно, плавно, бесшумно, как в кинокартине, повалилась на мостовую и рассыпалась щебнем, поднимая пыль. Только после этого донесся оглушающий грохот, будто расколосось небо и обрушилось на землю. Маслову с силой толкнуло в грудь, она упала, стукнувшись головой об асфальт. На глаза наплыл туман, но она ощущала себя, понимала, что лежит на тротуаре.

„Вот и моя очередь пришла. Неужели?“

И опять не страх, а удивление испытывала в эти мгновенья Маслова.

— Не ранена, жива? — тревожно спросила Трегуб, — вставай, Анна Степановна, вставай, голубушка, если можешь. Вот горе, вот беда, не сбросил бы еще бомбу. Ну, как, ну что?

— Ничего,—ответила Маслова, с трудом приподнимаясь,—жива. Голова только... Как-нибудь... Дай руку, что-то сил нет.

Трегуб взяла ее под руку.

— Уйдем отсюда подальше. Ах, попали мы с тобой, Анна Степановна!

Маслова шла медленно, пошатываясь. Ее слегка тошнило, в затылке тупой болью отзывался каждый шаг.

Свернули в боковую улицу и невольно остановились. Полнеба озарялось багровым заревом. Оно то вспыхивало, то угасало. По мостовой разливалась широкая огненная река, а на краю этой реки, в конце улицы, за крышами, вскидывались длинные языки пламени и вихрились космы серо-пепельного дыма. В нескольких шагах, на тротуаре, раскинув руки, вся освещенная заревом, лежала женщина. Около ее вытянутой руки валялась „авоська“ с выпавшим наполовину караваем хлеба.

— Гляди,—вскрикнула Маслова и, уже не ощущая слабости, не чувствуя боли в затылке, поспешно, как только могла, подошла к женщине. Опустилась на колени, пристально смотрела в лицо лежащей. Оно было бледным и спокойным, глаза закрыты, в уголках губ застыла скорбная улыбка.

„Дома детишки“—вспомнилась жалоба.

Подбежала девушка с санитарной сумкой через плечо, опустилась рядом.

— Ранена?—Взяла руку лежащей женщины. — Пульса нет. Помогите, держите голову.

Маслова машинально помогала девушке бинтовать неподвижное тело. Липкая кровь окрашивала бинт.

— В больницу надо,—посоветовала ткачиха.

— На углу аптека, можно вызвать карету скорой помощи,—сказал подошедший мужчина.

— Бесплезно, кажется,—санитарка поднялась с колен.

Маслову кто-то бережно взял под руку, помог встать и голосом Трегуб произнес:

— Пойдем, Анна Степановна, пойдем, голубушка, тут уже ничем не поможешь.

Маслова снова почувствовала слабость и боль в затылке. Она шла по озаренной улице, плохо соображая где она, не слыша, что говорила Трегуб. Давно умолкли зенитки, небо в той стороне, куда они шли, было, как вчера, как третьего дня, ясное, чистое. Сонный и безмолвный лежал вдоль Волги город. Неужели была стрельба? И шипящий шорох снарядов и гул вражеских самолетов? Тишина, мир, спокойствие. Лишь отсветы далекого пожарища озаряли улицы.

— Говорят, все-таки сбили один самолет, — сообщила Трегуб.

— Что?—переспросила Маслова, плохо соображая. Ныл затылок, на глаза попрежнему наплывал туман.

Ночью в гостинице она плохо спала. В разгоряченном мозгу всплывали одна за другой сцены: то высокий чабан рассказывал о нападении волков, то близко склонялся черноволосый с орденом член правительства: „Хорошее было ваше выступление“, то вдруг возникал поющий Сусанин. Все это связывалось невидимой цепочкой, все было как бы продолжением единого большого важного действия. И чабан был так же нужен, как и Сусанин. А затем все запутывалось, как в небылице: металлический гул самолетов, глухие удары бомб и лежащая на тротуаре мертвая женщина.

Маслова ворочалась на кровати, сжимала руками разгоряченный лоб.

„Никуда, видно, от войны не уйдешь. Сколько народа, от смерти спасаясь, кинулось с родных мест на восток. Приехали и мы за Волгу, от войны убежали. А война—за нами по пятам. Страшное время идет. Переживем ли?“

* * *

Эта ночь, заседания съезда и то приподнятое настроение, какое испытывала все это время, утомили ткачиху. Да и легкая контузия, полученная при бомбежке, давала знать. Много позже, перебирая в памяти все, что произошло в городе, Маслова путала и факты и даты. Когда была бомбежка? До выступления на съезде члена правительства или позже? Член правительства произнес большую речь и тепло отозвался о ней.

— На таких людях земля держится наша, такими людьми народ может гордиться, им особый поклон.

Весь зал захлопал в ладоши, а она, смутившись, поднялась с места и поклонилась сидящим в зале, что вызвало новые аплодисменты.

После окончания съезда, получив железнодорожный билет и трогательно распрощавшись с Трегуб, она приехала одна на вокзал. Зоотехник задержался в городе. Поезд опаздывал на три часа. Это даже обрадовало: есть время посидеть, отдохнуть, побыть наедине со своими мыслями.

Зал ожидания был переполнен, и Маслова после долгих поисков разыскала в полутемном коридоре, соединяющем зал ожидания с агитпунктом, свободный стул. Села, положив у ног деревянный баул, и только тут почувствовала, как устала за эти дни.

Мимо взад и вперед сновали люди. Плача, прошла молоденькая девушка. Ее востроносенкое, почти детское личико было залито слезами, сгорбившаяся маленькая фигурка вызывала жалость. Девушка судорожно вслипывала, хваталась за голову, жалобно вскрикивала: „Что же это такое, что такое“. У нее только что украли корзину — все ее состояние. Прошли двое военных, один говорил:

— Иного пути нет — Кочетовка, а там если застрянешь...

Пожилой бородатый гражданин раздраженно бросил благообразной старушке, еле поспевающей за ним:

— Теперь ищи, будет дожидаться, как же...

Беспокойство этих людей безотчетно передавалось Масловой.

„И куда спешат, и зачем тревожатся? Все уедут.“

В нескольких шагах от нее, у большого окна стоял книжный киоск. Около него задерживались пассажиры, покупали конверты, почтовые марки. Прихрамывая на правую ногу, тяжело опираясь на костыль, подошел высокий военный в шинели. Бегло оглядел полки, что-то сказал продавщице, та подала толстую книгу. Военный прислонил к прилавку костыль, взял книгу, но прежде, чем развернуть, подержал на ладони, любуясь золотым тиснением на корешке. Потом начал перелистывать, иногда задерживался на странице, читал. Захлопнул, полез в карман за деньгами, на мгновенье повернулся боком. Маслова увидела большое ухо, мясистый крупный нос, слегка выдавшийся подбородок, заросший щетиной. И нос, и подбородок показались знакомыми, видела она где-то этого человека. Но где? Военный расплатился, сунул под мышку книгу, взял костыль, повернулся... И Маслова глазам своим не поверила. Прямо на нее шел Алексей. Боясь ошибиться, страстно желая, чтобы было так, как показалось, опасаясь голосом вспугнуть появившееся видение, она чуть слышно позвала:

— Алеша.

Военный не расслышал зова, но заметил порывистое движение Масловой, увидел ее взволнованное лицо и заспешил к

ней, волоча больную ногу, стуча по каменному полу костью. Худое небритое лицо его озарилось улыбкой:

— Мать!

Маслова кинулась навстречу:

— Сынок!

Через минуту они сидели на стульях рядом, она плакала и смеялась, целовала его в небритые щеки и прерывающимся от волнения голосом твердила:

— Сынок мой, сынок.

Алексей ласково смотрел на мать:

— Вот и встретились, нашли друг друга. Земля не так то велика. Откуда едешь, куда?

Она гладила рукав его жесткой солдатской шинели:

— Какой ты худой и на висках седина. Еле узнала.

— Ничего, мать, были бы кости. А я ведь к тебе, выписали из госпиталя, дали отсрочку на шесть месяцев. Поживем! Вот книгу купил. Почитаю в деревне. Ну, как живешь?

Ее лицо сияло счастьем. Проходившие мимо люди обращали на нее внимание. Много ли нужно матери! Ее сын, больной, похудевший, постаревший, но живой, родной снова с ней. Больше ей ничего не надо.

Часть вторая

I

Виктор был любимец и баловень Анны Степановны. Алексей — ее гордость. О Викторе она говорила пространно, с теплотой и лаской, про Алексея — сдержанно, немногосложно, с затаенным тщеславием:

— Голова!

Этот серьезный, замкнутый, всегда о чем-то думающий человек, родной ее сын, был непонятен с ранней юности. Рос он со всеми детьми, жил в одних комнатах, а будто шел стороной, своей особой дорожкой. Иногда не замечала его по нескольку дней, он сам напоминал о себе причудами и затеями. Подростком увлекся механикой. Постоянно что-то строгал, стучал ручником, пилил, сорил опилками и железной стружкой, вызывая нарекания:

— Опять напакостил.

Он отрывался от работы, смотрел сумрачно на загаженный пол:

— Уберу.

— Что это строишь? — спросила его однажды.

— Корабль, вот гляди, — и стал объяснять.

— В кого такой уродился, — удивлялась Маслова.

Потом увлекся радиотехникой. Притащил ящичек, моток провода, водрузил на крыше шест, и в их тесной квартире зазвучала вдруг музыка, запели, заговорили голоса.

— Могу Румынию поймать, хочешь? — предложил он старшему брату Александру.

— А ну давай.

Это удивило Анну Степановну. Сидя в своей комнате, она слушала румынский джаз. Больше всего поразило то, что это „чудо“ совершил не какой-нибудь посторонний специалист, а ее вихрастый, прыщавый сын Лешка.

Как-то, придя домой со второй смены за полночь, она застала его читающим книгу. Все в доме спали, он один бодрствовал. Он уже учился на втором курсе индустриального института.

— Спать пора, полунощник.

— Сейчас, дочитаю.

— Успеешь и завтра.

— На завтра другая книга приготовлена.

— Хочешь все проглотить.

— Ну, все! Человеческой жизни не хватит, чтобы все прочитать, — он потянулся, заломив за голову руки. — Эх, мать,

как мало мы знаем, какие мы, оказывается, невежды. Чем больше читаешь, тем больше в этом убеждаешься.

— Глупости, — заявила она, — бывает и учености конец.

— Горький говорил: чем больше живешь, тем труднее все знать в наше время.

— Так до старости и будешь учиться?

Алексей усмехнулся:

— Для учения нет старости.

— Ты мать не учи, — вспылила она, — я век прожила, видала и знаю кое-что и без твоих книг. Погляди-ка на себя — ученый! Брюки в мелу, рубаха порвана. Что мне с тобой делать?

— Какие тебя, однако, мать, пустяки волнуют. Завтра сменю рубаху — и разговору конец. Ты вот что подумай: этой книге, — он пристукнул ладонью по лежащей на столе книге, — четыреста лет. Человек, который ее писал, жил четыре века тому назад, его уже давно нет, а мысли его дошли до нашего времени. Нас с тобой не будет, а книга останется. Удивительно, правда? Такие книги подобны сладкому напитку: прикоснешься губами и не оторвешься, так бы пил и пил.

Маслова вздохнула, сожалеюще сказала:

— В кого ты такой...

— Сам в себя.

Этот ночной разговор с глазу на глаз запал в память. Перед ней по-новому предстал Алексей — вихрастый, трудно растущий парень. Наблюдая за ним, Маслова с тайной материнской радостью обнаруживала в нем все новые качества. Он никогда не спорил, старался мягко и терпеливо убедить собеседника; если не удавалось — замолкал. Однажды, когда третий сын ее, Владимир, о чем-то заспорил с ним, Алексей пожал плечами, сдержанно сказал:

— Криком истины не установишь. Спорить не в моих правилах.

— Вот как! — подзадоривал Владимир.

— Да! Из двух спорящих один всегда заблуждается и похож на дурака с бубенчиками. Не хочу тебя ставить в такое положение.

— Почему же я похож на дурака, а не ты?

— Потому что я убежден в своей правоте.

— А я в своей.

Алексей развел руки.

— Что же теперь делать? Раньше немецкие студенты споры дуэлями разрешали: кто кого шпагой проткнет, тот и прав. Не последовать ли их примеру? — и так потешно прищурился, что Владимир рукой только махнул:

— С тобой трудно спорить.

— Вот и прекрасно. Все разрешилось к обоюдному удовольствию. Пойдем прогуляемся, я иду в библиотеку.

После окончания индустриального института Алексей был назначен механиком на тот самый завод, где мастером работал отец. Это было большой семейной радостью. Вечером за

столом собралась вся семья. Отец, взволнованный и торжественный, произнес путаную речь:

— Спасибо, Алеша, не посрамил, ей-богу. Это по-нашему, по-масловски. Встал бы дед из могилы, да поглядел на внука. Ведь он, дед, на себе железную колымагу возил, в ней самой веса десять пудов, да железа навалят пудов двадцать. Верблюжья должность! Силы был непомерной покойник. Тогда ни монорельсов, ни кран-балок, ни этих транспортеров—ничего не было. Все — вручную, на тачках, в тележках. Помню, мальчишкой был, клещи нагревальщикам подавал, да воду таскал. У горнов—жарища, рубахи на людях тлели. Выбежишь во двор, а дед со склада в цех через весь двор колымагу катит. Почернеет от натуги. Пятнадцать лет возил колымагу, так и умер около нее. Н-да! Сейчас на заводе шутя работать, все для облегчения человека сделано. А кто? — механики все придумали. Мать, — обратился он к Анне Степановне, — погляди на Алексея, кто он? Механик! Понимаешь, что это значит — механик, — он растянул это слово, — все равно что мозг в голове у человека. Башка, чорт! — это относилось к Алексею, — иди, чортушка, обниму. И выпьем. Ни-ни, мать, для такого случая не препятствуй.

С того времени Маслова стала относиться к Алексею со смешанным чувством уважения и страха. Она немножко его даже побаивалась. Называла полным именем — „Алексей“, чуть на „вы“ не обращалась. Сын был умен, начитан, и она опасалась показаться ему смешной.

Перед самой войной Алексей занялся конструированием сверхмощных подъемных кранов. Приходил домой с завода поздно ночью, усталый, угрюмый, отказывался от ужина, молча проходил в свою комнату, плотно закрывал за собой дверь. Маслова, лежа в постели, слышала, как еще долго скрипел под ним стул, шелестела бумага. Иногда хлопали дверцы книжного шкафа: Алексей выбирал новую книгу. А то начинал ходить по комнате, и его тяжелые шаги раздражали.

Как-то ночью Маслова не выдержала, накинула на себя платье, тихонько вошла в комнату сына. Он сидел за столом, облокотившись на руку, читал книгу и не слышал, как вошла мать.

— Алексей,—позвала она тихо, — отдохнул бы. Он встрепенулся.

— А, мать! Ты что не спишь?

— Гляжу на тебя, извелся весь, бросил бы эти дела.

Алексей слабо улыбнулся.

— Не могу. Человек — дерзкое создание, он никогда не доволен тем, чего уже достиг. Впрочем, что я говорю... Хотим мать, большие машины построить, чтобы они сами, без человеческих усилий, паровозы на воздух поднимали.

Лицо у него было утомленное, бледное, и она, не вникая в смысл его слов, по-матерински посоветовала:

— Спать бы ложился. И день и ночь, и день и ночь—голова, поди, болит от дум. Чахотку получишь.

Он встряхнул вихрами.

— На мой век здоровья хватит.

Анна Степановна гордилась сыном, как ваятель гордится прекрасным творением рук своих. И вот этого сына, ее Алексея, больного, похудевшего, но попрежнему серьезного, всегда о чем-то думающего, она и привезла к себе в деревню.

* * *

Поселился Алексей, к великой радости Петра Петровича, у тетки Натальи, после ее настойчивых просьб и уговоров.

— Целый день одна одинешенька, никого, — говорила она, зайдя к Масловой, в первый день приезда Алексея. — Квартирант с утра до ночи на конюшне, Максим с Сашенькой в в метее, когда еще приедут. Прямо тошно. Переходил бы ко мне, Лексей Васильевич.

Анна Степановна запротестовала было:

— К родной матери приехал и по чужим избам слоняться.

— Не чужие, чай, свои, — Наталья даже обиделась, — а соскучится, сто раз на дню забежит. Ему лучше у меня будет.

Тетку Наталью поддержала Аграфена:

— У нас базар, что говорить. Ребят разве уймешь, деньдешьской как юлы. Вы замолчите?! — крикнула она на них.

И Алексей переселился. Устроила его тетка Наталья на максимовой кровати, и он, наслаждаясь в первые дни тишиной, подолгу валялся в постели с книжкой в руках. Иногда поднимался, опираясь на костыль, ходил по избе.

— Ложись, Алексей Васильевич, натрудишь ногу, опять разболится.

— Надо её к движению приучать, иначе не поправлюсь.

Днем, когда никого в избе не было, кроме Натальи, расспрашивал о житье-бытье: сколько выдали хлеба на трудодни и часто ли ездят на базар, откуда берут корм для своих коров и не мешает ли огород работе в колхозе. Тетка Наталья, польщенная его вниманием, охотно рассказывала обо всем, вспомнила прошлую жизнь.

— Сама еще дитя, побегать бы, а мать: я-те побалуюсь, качай Ксютку. Только в возраст стала входить, замуж выдали. Глупая была и-и!. Помню, все с кутенком играла, ленты навяжу и бегу за ним по двору. А меня — под венец. С германской мужик вернулся целехонек, а в гражданскую пропал. Неподалеку тут Чапаев объявился, мой — к нему и пристал. В казаки ходили, там и остался. Максима без него рожала, тоже хлебнула горя.

Вечером возвратился с конюшни Петр Петрович. Осторожно снял с себя заношенный брезентовый плащ, выданный Червяковым, у порога сбросил грязные мокрые ботинки:

— Снова становлюсь самим собой. Опущен занавес, артисты смывают грим. Какая трудная роль! Никак не могу стать конюхом.

— Роль не по вас, — сказал Алексей с явной насмешкой: — Было у Мокея четыре лакея, а теперь Мокей — сам лакей.

— Не осуждайте. Трудно мне привыкнуть в чужих одеждах ходить. Почему я стал юристом, простить себе не могу. Коновалом бы заделаться, сейчас бы мне почет, и горячие пироги, и молоко.

— Крупную ошибку допустили, что и говорить.

Алексей зевнул, повернулся на кровати, лег лицом к стене. Перепелица усталой походкой прошел к столу, опустил на стул.

— Наталья Герасимовна, за тарелку шей полцарства бы отдал.

— Руки вымой, в навозе возился.

— Вы правы. Как я опустился!

Вымыв руки, принялся за еду.

— В сводках пишут: два наших снайпера уничтожили двести двадцать гитлеровцев. Ужасное ремесло война.

Алексей обернулся, посмотрел пристально на Перепелицу.

— Вы немцев видели?

— А как же, напротив меня жил немец, булочную держал. Какие у него были хлебцы! И сам он, как булка: румяный, круглый. А услужливый—до приторности. Завернет хлебец в бумагу, протянет с поклоном: „путьте сторофы“.

— А этого булочника не встречали в солдатской шинели?

Перепелица настороженно взглянул на Алексея. Злой и колючий тон Алексея был ему неприятен.

— Не встречал.

— А я встречал. Хотите покажу этого булочника в его натуральном виде?

Алексей порылся в своей походной сумке, висевшей в изголовьи, вынул пачку бумаг, перевязанных обыкновенной бечевкой, развязал, отобрал среди других исписанный лист почтовой бумаги.

— Это письмо немецкого солдата Пауля Хенинга. Вашего булочника не так звали? Нашли мы это письмо в захваченной штабной машине. Адресовалось оно в Кенигсберг. Вот что писал этот булочник или колбасник своей фрау. И вы, тетка Наталья, слушайте, это полезно. Я прочитаю русский перевод.

И он прочел следующее:

„Сегодня мы изрядно выпили. Солдатская жизнь опасна и горька. Одно утешение в вине. Разговор зашел о наших предках, древних германцах. Роберт сказал, что им доставляло удовольствие пить кровь побежденного врага. Я ответил: а мы разве не такие, и мы должны пить кровь русских. Кровь противника сладка и горячит, как вино.— „А выпил бы“?— спросил Роберт. — „Выпил бы“. Ребята начали подзадоривать. Я был пьян, побежал в сарай, вывел пленного русского солдата, самого молодого, какой там был, и приколот, как барана“...

Перепелица перестал хлебать щи и смотрел на Алексея широко раскрытыми глазами. Тетка Наталья охнула и перекрестилась: — Господи!..

Алексей метнул на них взгляд, продолжал:

„Он упал. Я подставил к груди стакан от фляги, напол-

нил его, выпил одним махом. Было тошно, но я сдержался, убедил всех, что это даже приятно. Другие солдаты' тоже начали выводить пленных и прикалывали их..."

— Не может быть, это придумано. — Перепелица вскочил и заходил по избе. — Невероятно!

Алексей поднял руку с письмом:

— У меня оригинал. И подпись и адрес. Для музея берегу, — он медленно свернул письмо. — Не только конюхом, будешь выполнять самую черную работу, если это нужно для уничтожения такого врага.

— Ужасно! — воскликнул Перепелица.

— И тот, кто жалеет гитлеровцев, — продолжал Алексей глухим голосом, — тот либо отъявленный мерзавец, либо идиот.

— Помилуйте, вы меня не так поняли, — смущенно пытался оправдаться Перепелица.

— Я все понял, — сумрачно ответил Алексей, пряча письмо в сумку.

На следующий день Наталья таинственно сообщила Масловой:

— Твой-то вчера с квартирантом ух и поругался.

— Из-за чего?

— Из-за немцев. Твой говорит — немцы кровь русских пьют, а Перепелица вроде того, мол, немцы ничего, булками, вишь его где-то кормили.

— Экий подлец. Не нравится мне этот твой Перепелица. А потом что?

— Потом ничего, чай вместе пили, уговаривались летом на охоту ходить.

— Путаешь ты все, Наталья.

— Сама слыхала, — убеждала Наталья, — твой письмо немецкое читал.

Это окончательно убедило Маслову: Наталья что-то перепутала.

Дней через пять после этого разговора Алексей зашел к матери, сел на стул, положив около себя костыли, вытер взмокший лоб платком.

— Устал. Прошел по селу и размяк. У Червякова был. Познакомились, о делах поговорили.

— Как он тебе понравился?

— Мужик толковый. „Нашу работу, говорит, судят, теперь по тому, сколько хлеба да мяса армии дали. Армия сыта, одета, значит, работаем неплохо. А если армия голодать будет, нам тогда цена — полушка ломаная“. Трезво рассуждает. Если бы не было колхозов, мы уже сейчас не смогли бы воевать. При мне лейтенант из воинской части на трех машинах за картошкой приехал. Полчаса не прошло — все загрузил.

— Осень и зиму возят и возят, — заметила Аграфена.

— Армию кормить-то надо, — Алексей пристально посмотрел на Аграфену, — или как?

— Да разве я против...

— Зачем ходил? — спросила Маслова сына, — не о картошке же говорить.

— Угадала. Мельница колхозная стоит, механика, оказывается, еще в начале зимы забрали в армию.

— Ну и что же?

— Договорились, мельницу налажу.

— Правда? — обрадовалась Аграфена, — народ замаялся без мельницы. В совхоз ездят за пятнадцать верст.

Маслова нахмурилась.

— Выдумал. Подлечись сначала. Погляди, на кого похож, краше в гроб кладут.

— Я себя хорошо чувствую. От безделья хуже заболеешь. Ты сама понимаешь, нельзя сейчас сиднем сидеть, совесть мучает.

II

В колхоз приехал фотокорреспондент областной газеты. В сопровождении Червякова и Слепова он обошел все хозяйство, заглянул в мастерскую и сфотографировал около плугов и борон кузнеца деда Федосия и самого Червякова.

— Нагнитесь над плугом, как будто осматриваете.

Прошел на конюшню и запечатлел Казакевича с лошадьми. Перепелица намеревался тоже позировать, но Червяков воспрепятствовал:

— Вас в другой раз.

Завернули на ферму. Червяков подвел фотокорреспондента к Зореньке.

— Наша рекордсменка... А это лучшая доярка, эвакуированная ткачиха, — представил он Маслову. — На съезде была.

Анна Степановна нахмурилась.

Фотограф уже лейкой нацелился:

— Поближе, поближе к корове, вот так, а в руку — дойницу... Благодарю вас.

— Ты бы детишек моих снял, — попросила Маслова.

— Частной практикой не занимаюсь.

Но, узнав про Валю, заинтересовался:

— Это сюжет: „Валя нашла новую семью“. Ведите...

Маслова умыла и придела девочку, расчесала волосы, сама принарядилась, и фотограф получил над ними неограниченную власть. Усаживал то у окна, то среди избы. Снял вместе Валю и Маслову, потом отдельно Валю с куклой в руках, потом — в окружении ребят, рассматривающих картинки в книге. На прощанье пожал руку Масловой: „Благодарю вас“, потрепал Валю по щеке: „Будь умницей, расти“. Уехал.

Через несколько дней в правление колхоза пришла гезета с фотоснимком: Валя прижалась к Масловой; большие глаза девочки, как обычно, не по-детски серьезны. Маслова сдержанно улыбалась, лицо ее было добродушно и по-старушечьи ласково. Она принесла газету домой.

— Гляди, Валюшка, какая ты вышла нарядная да красивая.

Анну Степановну обступили ребята, наперебой требовали:

— Покажи, бабушка, где, где?

Хлопали от радости в ладоши:

— И ленточка в волосах, и нос ее, а бабушка не похожа, молодая.

Валя взглянула на фотоснимок, подняла голову, посмотрела на Маслову:

— И ты, бабушка, красивая.

Маслова обняла ее:

— Ласточка моя, не хочет обидеть старуху.

Из МТС вернулись Максим и Сашенька: закончили ремонт тракторов, закончили занятия. Сашенька вбежала в избу, обняла мать, закружила, затормошила:

— Мама, роднула, милая, как я рада! Снова с тобой. И Коля, и Валя! О, как выросла. А где Алеша? На мельнице!.. Как же он с костылем работает?

— Вот, поди! Возьмет под мышку какую-нибудь часть от двигателя да шаркает через все село в мастерскую. Все сам, все сам. Непоседа.

— Но как я рада, мама, золото мое... Вот привезла тебе, вчера на базаре купила. Ни - ни, не отказывайся: шотланка, на юбку. Носи на здоровье!

Сашенька вынула из мешка кусок клетчатого материала, протянула матери. Анна Степановна умилилась:

— Дождалась, доченька одаривает. Спасибо, родная.

Вслед за материей Сашенька вынула из того же мешка кусок говядины, завернутый в газету.

— На котлеты. Знаешь, как я люблю их с соусом. Придет Максим, Алексей...

— Это зря. Что мы здесь говядины не достали бы.

— Ну, мама, это от радости.

Маслова разложила на столе говядину, прикинула:

— Мосол на щи пойдет, это, пожалуй, на жареную с картошкой, из мякоти не котлеты, а лучше пельмени сделать.

— Ты кудесница, мама,— Сашенька восторженно захлопала в ладоши,— Максим водочки привез, какая будет встреча! — и она порывисто обняла ткачиху.

— Все такая же!.. Иди к свекрови, тяпку попроси.

Сашенька вышла. Маслова вооружилась кухонным ножом, стала разделять говядину. Рядом на стул взобралась Валя.

— А это чего будет? А много пельменей выйдет? А мне дашь?

— Как же не дать, глупенькая, конечно дам.

Отворилась дверь.

— Принесла?—спросила, не оборачиваясь, Маслова.

Валя схватила ее за руку.

— Ты чего?—Маслова взглянула на девочку и поразились: лицо Вали внезапно изменилось, мертвенная бледность покрыла щеки, широко раскрытые глаза были устремлены на дверь.

— Что с тобой?

Девочка прыгнула со стула и с радостным воплем: „Папа!“ кинулась к двери. Маслова быстро обернулась. В дверях

стоял военный в шинели и теплой шапке-ушанке. Он подхватил на руки Валю, прижал ее крепко к груди.

— Валюня, детка моя.

Валя билась в его руках, и громкие рыдания сотрясали ее маленькое, худенькое тельце.

— Папка!

Военный целовал ее в щеки, в глаза, в губы и бессвязно повторял:

— Дочушка, маленькая моя.

Маслову словно толкнули в грудь. Она почувствовала сильное сердцебиение и тупую боль в затылке, как тогда, в первые минуты контузии. Тело налилось невыразимой усталостью. Анна Степановна беспомощно опустилась на стул.

В это время вошла Сашенька с тяпкой в руке. Увидела военного, взволнованное, растерянное лицо матери и остановилась в недоумении у порога.

— Что случилось, мамочка?

— Ничего, Сашенька, ничего, — глухо ответила она.

Военный поставил Валю на пол, подошел к Масловой:

— Простите, что не предупредил. Я так торопился... Капитан Несветов.—Он протянул руку Масловой.—Как вас благодарить! Десять месяцев ничего не знал о семье, и вот случайно в газете снимок... Спасибо, большое, большое спасибо!

Левая щека его конвульсивно задергалась, губы мелко и часто дрожали. Он пожал руку Масловой, отвернулся, поспешно вынул из кармана носовой платок, вытер глаза:

— Извините слабость. С первого дня войны потерял их. Куда только ни обращался — пропали. Вы, вы...—Голос его оборвался, он сел на стул рядом с Масловой.

Анна Степановна сидела выпрямившись, лицо ее было непроницаемо сурово. Ни слова не проронила ткачиха, только крепко сжатые губы да чуть нахмуренный взгляд выдавали ее тревогу. Несветов посадил к себе на колени Валю, гладил по голове, слушал бессвязный рассказ о гибели матери.

— Значит, мамы у нас нет, — произнес он тихо. Он склонил голову и долго сидел в раздумьи. — Вы должны понять, что я сейчас испытываю, — обратился он к Масловой. — Кроме Вали теперь у меня никого нет на земле. Жена моя...

Несветов рассказал, как жил с женой до войны на пограничной заставе, как они любили друг друга, какая у них была хорошая жизнь. Анна Степановна поведала о себе, о муже-старике, о сыновьях: не пишут что-то долго, тревожится ее сердце. Помянула и Витеньку. Они избегали говорить о судьбе Вали, безмолвно условившись не касаться пока этой темы. Но под конец Маслова не выдержала и, стараясь быть спокойной, как бы равнодушно спросила:

— Валю с собой заберете?

— А вы как советуете? — Несветов посмотрел на ткачиху, прочел в ее глазах тревогу, понял, что она любит девочку, и от этих мыслей на душе у него стало спокойно. Он впервые улыбнулся.

— Анна Степановна, вы замечательный человек. Лучшей матери для Вали не найти. Конечно, мне хотелось бы иметь ее около себя. Но я не распоряжаюсь своей судьбой.

— Она здесь как дома, никто ее не обидит, — сдержанно произнесла Маслова.

— В этом я уверен. Давайте так и решим: пока война, Валя останется у вас, а там видно будет.

— Там видно будет, — повторила Маслова. Лицо ее было попрежнему строго. — После войны, если нашей семьей не побрезгуете...

— Что вы, Анна Степановна, — Несветов крепко пожал ее руку.

— Мамочка, — напомнила о себе Сашенька, — ну, давай же пельмени делать. — Она все время сидела в сторонке, безуспешно пытаясь обратить на себя внимание.

Маслова улыбулась и извиняющимся тоном сказала:

— Дочка моя Сашенька кушать захотела.

* * *

В это время Алексей, нагнувшись над валом, лежащим перед ним на верстаке, говорил стоящему рядом вихрастому, веснушчатому пареньку:

— Разобрали мы с тобой, Кириллка, двигатель, прочистили, промыли его, теперь осмотрим. Перед выступлением в поход воинская часть всегда смотр проводит. Начнем с вала.

На мельнице было сумрачно и холодно. Свет падал в широко распахнутую дверь. Верстак с привинченными тисками находился неподалеку от неё. На верстаке аккуратно разложены напильник, зубило, клейцмессель — весь немудрящий инструмент, разысканный и приведенный в порядок самим Алексеем. Тиски он нашел среди старого железа в кузнице, верстак сделали колхозные плотники. Перенести все это на мельницу и установить помог Кириллка, старший сын Катерины. Увязался он как-то за Масловым, когда тот возвращался из колхозной мастерской на мельницу, с тех пор и повелось Алексей на мельницу — Кириллка ждет у ворот.

— На своем посту, Кирилл и Мефодий? Пошли...

Алексей приподнял вал, внимательно осмотрел его.

— Дай клейцмессель.

Кириллка подал зубило.

— Экий ты бестолковый, не отличишь правого от левого. Это зубило, вон клейцмессель... Канавки надо прорубить. Займемся этим делом, а ты, чем глазами хлопать, закрепи в тисках гайку, да попробуй!.. пройдишь напильником, как я тебе показывал. Учись, учись.

Алексей положил вал на верстак, начал осторожно клейцмесселем прорубать шпоночные канавки.

— Это ты зачем делаешь? — поинтересовался Кириллка.

— Машина, друг, хорошо работает, когда все подогнано, прилажено. А тут шкива пляшут, не плотно подходят. Мы вставим новые шпонки, смажем маслом и тогда...

Паренек слушал внимательно, наблюдая за движениями механика.

На любознательность юного собеседника Алексей жаловаться не мог: всем интересовался, обо всем надоедливо, по пять-шесть раз переспрашивал. Иногда Алексей сердился:—Экий ты, право, брат,— но тут же принимался вновь и вновь объяснять.

— Понял? Ну и прекрасно. Так то Кирилл и Мефодий. Про таких монахов слышал?

— Нет.

— Чему же вас в школе учили? Грамоту знаешь и писать умеешь? Благодарю монахов Кирилла и Мефодия... Фу, чорт, работа,— Алексей перевел дыхание, вытер рукавом проступивший на лбу пот.— Сизифов труд. Сюда бы один токарный да сверлильный станок из нашего механического цеха. Не бывал на заводах?

— Где же быть.

— Побываешь. Вырастешь, подучишься, механиком станешь. Механиком хотел бы стать?

Кириллка шмыгнул носом:

— А то! Прежний механик жил — на крупе и муке спал.

— А без крупы?

— Пачкаться — то!

Алексей усмехнулся.

— Философ, Гераклит! Откуда такой практицизм?

Дверь кто-то загородил, стало темно. Алексей поднял голову, увидел женщину, и не успел сообразить кто это — женщина подбежала и с радостным возгласом — „Алешенька, милый“ — обхватила его руками за шею, звонко чмокнула в щеку. Тут только понял: Сашенька. Прижал ее голову к груди, поцеловал в завиток волос у виска.

— Стрекоза! Ну, здравствуй, здравствуй. Дай погляжу на тебя,— слегка отстранил, взглянул на ее румяное, смеющееся лицо, быстро окинул всю фигуру.

— О-о, какая ты!

— Какая?

— Пышка. Пополнела, похорошела, замужество на пользу. Сашенька вспыхнула, отвернулась. Она была явно польщена похвалой Алексея. Позади нее послышалось сдержанное покашливание. Сашенька живо обернулась.

— Иди же сюда.

Тут только Алексей заметил стоявшего в дверях молодого черноволосого парня.

— Мой Максим,— представила его Сашенька и не удержалась, чтобы не похвастаться,—лучший четеизист по всей МТС.

— Вот как!—Алексей крепко пожал руку тракториста.— Приятно знать. Закончили ремонт, скоро и пахать?

— Да, пора.

Закурили. Алексей сел на обрубок, заменявший стул.

— Чего сделал, а уже устал. На заводе все под руками имелось, привык к размаху, а тут словно спеленали. Цилиндр

сработался, по-настоящему надо бы на станке расточить, решил просто сменить поршневые кольца. В МТС нельзя их достать?

— Отчего же, можно, я поговорю с механиком.

— Глазами бы все устроил, а возьмешься—не то. Сил нет.

— Давайте подсоблю,—Максим решительно сбросил теплое пальто, остался в одном пиджаке.

— Не надо, я сам,—запротестовал Алексей.

— Ну, долго ли, в один момент,—Максим подошел к верстаку, взял в руки клейцмессель. Действовал он ловко, быстро. Алексей сразу оценил его умелые приемы и любовался статной, сильной фигурой тракториста.

— Славный у тебя муженек,—сказал он Сашеньке,—такого бы мне помощника, в три дня пустил бы мельницу. Есть у меня, правда, помощник,—кивнул на Кириллку,—да он еще зубило с напильником путает. Ну, ничего, научится.

Сашенька опустила рядом с Алексеем на колени, прижалась щекой к его руке.

— Как живешь, егоза? Трактор научилась ломать?—пошутил Алексей.

— Спроси Максима, испытание сдала на „отлично“. Скоро буду пахать.

— Вы с матерью молодцы. Пока мы там воевали, вы тут чорт знает что наделали. Мать — доярка, рекорды ставит, ты машину изучила.

Сашенька смотрела на брата, ловя каждое его слово.

— Страшно на войне, Алешенька?

— А ты как думаешь?.. Кирилл, возьми масленку, смажь канавки... Умирать никому не охота. Только одни умеют подавлять страх в себе и, если нужно,—умирают просто, без вздохов. Другие не владеют собой, теряются. Храбрость надо воспитывать в себе.

— Как же ее, эту храбрость найти? — спросил, не отрываясь от работы, Максим.

— Попадете на войну, найдете. Можно ко всему привыкнуть.

— Лешенька, милый, ну скажи, ну, как там? Где вы жили, где спали, что кушали, кто вам готовил? Когда тебя ранили, больно было? И страшно? О чем ты думал в это время?—закидала брата вопросами Сашенька.

— Ну, не сразу обо всем, стрекоза. Ты так много спросила, не знаю с чего начать. О чем думал, когда ранили? — Алексей полузакрыв глаза. — Не помню, ей-ей! пить хотелось и очень холодно было. Я лежал на огороде, в бурьяне, впереди в нескольких шагах стояла изба. И у меня мысль: кто живет в этой избе? Если сумею доползти до избы—смерть или спасение найду? А оставаться на огороде—чувствую—погибну, не выдержу, кровью истеку, замерзну. Дело-то ночью было, а уже осень на дворе.

— Ты решился?—Сашенька в ужасе смотрела на Алексея.

— Пополз и попал...

— К немцам?!

Алексей усмехнулся.

— Тогда едва ли бы я тут сидел. В избе жила семья сельского учителя. Они поместили меня на сеновале, а там, таких, как я, уже шестеро. Целый лазарет. Потом еще четверых полобрали. Одиннадцать человек нас было всего. Вы про храбрость спрашивали,— обратился он к Максиму,— в бою, в драке храбрость выказать, что тут удивительного! На миру и смерть красна. А вот храбрость Клавдии Петровны — жены учителя, это удивительно. Она храбрость проявляла втихомолку, тайком, ежедневно, в течение месяца. Каждый день нас могли обнаружить немцы и тогда вся семья — и учитель, и Клавдия Петровна, и двое их ребят, которые нам молоко таскали... Немцы придумали бы им казнь. Клавдия Петровна сама нас перевязывала, единственную корову зарезала, чтобы нас кормить. Вот, Сашенька, какие люди! Расставались, плакали, в гости после войны приглашали.

— А немцы все время так и жили в селе?

— Нет. Ушли потом, фронт отодвинулся, и мы оказались в глубоком вражеском тылу.

Сашенька повела зябко плечами.

— Страшно как!

Максим кончил работу, подошел с валом в руке.

— Достаточно?

— Вполне.

— Максим!— в ужасе воскликнула Сашенька и вскочила, — забыли.

Максим виновато улыбнулся.

— И правда. Матери там хлопочут, звать велели.

— Отец Вали приехал, — сообщила Сашенька, — объявился неожиданно-негаданно.

— Ведь он погиб!

— Жив-целехонек.

— Я встречал не раз живых „покойников“... А что там матери затеяли?

— Пельмени, я из района горячее привез, — Максим подмигнул, — для здоровья полезно.

— Напрасно, я не любитель.

— Разок можно, со встречей, а то на пашню выедем до осени в поле, там уж будет не до этого.

Алексей с сожалением посмотрел на разложенные части машины. Максим понял его:

— Я сам такой, не люблю, когда от дела отрывают... А цилиндр, пожалуй, лучше в МТС отправить, там все обделают.

Алексей аккуратно вытер руки паклей.

— Полгода был оторван от работы. Помню в одном селе электростанцию взорвали. Чуть не плакал, честное слово. Люди строили, поди радовались, когда зажегся свет. В конюшнях, в свинарниках электричество было, а я спичкой чирк — и все на воздух. Ведь наша станция, нам же самим как займем это село, придется восстанавливать... Ну, пошли. Пельмени, так-пельмени!

Стены полевой будки скрипели под напором ветра, как старые ворота. В маленькое окошко надоедливо стучался мелкий дождь. По стеклу струилась вода, совсем как осенью. За стенами будки лежала хмурая степь, там было холодно и темно, а в будке—тепло и по-домашнему обжито. В железной печурке весело потрескивали дрова, дверцы были открыты, длинные огненные языки лизали чурки, тускло освещая тесное помещенье: по просьбе Сашеньки лампы не зажигали. Из полумрака выступала часть стола с оставленным кем-то караваем хлеба, да край полога, висевшего над максимовой кроватью. Другая половина будки, занятая нарами, скрывалась в темноте и лежавшие на нарах девушки-трактористки угадывались только по вздохам и сдержанному шопоту. За столом сидели Максим и Казакевич. Казакевич прислонился спиной к стене, глядел на пляшущее пламя в печи и, словно вслух раздумывая, рассказывал:

— Привели к хладобойне, за город. „Хальт! Сейчас ладим вам работу“. Отчего же, думаем, нет, работать надо. Отделили сотни две человек, говорят им: „надо зарыть скотину!“ Все может быть и этому поверили. Скотины много подохло, почему же не убрать, кто откажется, надо убрать. Выстроили первую партию по четыре в ряд. А мы стоим. Я говорю своей жене: „Смотри, Роза, знакомый бухгалтер“. Он увидел нас, кивнул головой: „До свидания“. Ушли. Стоим, ждем, что будет дальше. А день тихий такой, теплый. Сентябрь. Спрашиваю Розу: „Хлеба взяла? Кто знает, сколько времени тут проведем“. „И хлеба взяла и рыбы, будь спокоен“,—ответила Роза. Да, я мог быть спокоен, когда со мной была Роза. Такая, знаете, заботливая, такая аккуратная, ой! Разговариваем. И вдруг с той стороны, куда только что повели людей, — тра-та-та-та!.. Стрельба. Я взглянул на Розу, она взглянула на меня. Мы не сказали друг другу ни слова, потому что с нами был наш мальчик Илья. Ой, товарищи, каждому отцу свой сын дорог, каждому кажется умнее и красивее его сына на свете нет. Но мой Илья был таки умный и очень красивый парень. Знакомые говорили: „Иосиф Захарович, у вас один сын, но он пятерых стоит. Счастье иметь такого сына“. Он учился в десятом классе, имел одни самые „отлично“. Директор школы, когда приходил ко мне на прием, хвалил: „Я не знаю такого другого способного ученика. Отдайте его непременно в ВУЗ, пусть он станет химиком или геологом“. А мне хотелось, чтобы сын стал доктором. Один единый сын и сделать его геологом! Зачем? Без геолога, по-моему, можно прожить. Вы простите меня, но мое такое мнение, и без химика тоже как-нибудь обойдусь, а без доктора. Если у вас заболит ухо или глаз, вы не позовете химика, а позовете доктора. По-моему, доктор даже в Абиссинии найдет практику: „Сын мой, иди в докторы“. И он отвечал: „Хорошо, папа, пойду в докторы“... И я ничего не сказал, когда услышал стрельбу, и Роза ничего не сказала... А

может иначе было совсем. Это я так сейчас вам рассказываю, потому что знаю, что было после. Вернулись немецкие солдаты, отсчитали еще человек двести, увели. И опять через несколько минут: та-та-та. И опять мы переглянулись с Розой. „Где-то стреляют“, — сказал Илья. „Да, где-то стреляют, сын мой“, — ответил я. Во второй раз вернулись немецкие солдаты, построили по чегыре в ряд нашу последнюю группу. Я шел взяв под руки Розу и Илью и о чем-то говорил. Не помню о чем. Я должен был говорить, потому что мне было страшно и я не хотел, чтобы этот страх заметил Илья. „Хальт, Хальт!“ — закричали немцы. Остановились. Впереди, в двух шагах от нас — глубокая канава. Взглянул я в эту канаву и сначала не понял: зачем, думаю, эти люди легли в канаву. А потом увидел кровь, много крови, и у меня от ужаса свело кожу на затылке. „Не надо, не смотрите!“ — крикнул я и повернул Розу и Илью спиной к канаве... Страшно умирать, товарищи, не буду врать, зачем мне это нужно, прямо говорю — я не хотел умирать. И я заплакал. Мы обнимали друг друга и целовались, понимая, что нам осталось жить пару минут. Вокруг была степь, грело солнце, над нашими головами пролетела стая диких уток. А я через минуту должен упасть на землю и больше не увидеть ни солнца, ни птиц. Я понял, мне не уйти от этой канавы, я свалюсь в нее и буду валяться, как бухгалтер, как сотни других.

Казакевич провел рукой по лицу. Сашенька тихонько слезла с нар, положила дров в печурку. Они вспыхнули, на мгновенье озарив и стол, и нары, и лежащих на них девушек. Девушки завздохали, Сашенька подсела к Максиму, продела под его руку свою, прижалась к плечу.

— Страшно, — прошептала она.

За стенами будки попрежнему повизгивал ветер, под его напором поскрипывали стены.

— Продолжай, Казакевич, мы слушаем, — попросил Максим.

— Я потерял сознание за секунду до автоматной очереди, — продолжал Казакевич, — очнулся от холода. Было темно и очень душно. Давила какая-то тяжесть. Хотел повернуться и не мог, будто связали по рукам и ногам. Я лежал в канаве, на трупах людей, а на мне слой земли. Я начал сбрасывать с себя эту землю. Это было трудно. Я задыхался. Земля насыпалась в уши, забила рот, скрипела на зубах. Я стонал, плакал от усталости. Я изнемогал. У меня не было больше сил. Но я знал: если не выберусь, умру. Сколько времени прошло — не знаю: час, два, мне казалось — прошла вечность. И вот я глотнул ртом свежий воздух. Была ночь, стояла тишина. Где-то далеко лаяли собаки. Я подумал: слышу собак, значит жив. Жив! Из мертвых восстал! И так мне захотелось жить, что я заплакал от мысли, что я жив. А где Роза, где Илья? Я руками разгреб землю, откопал их, они уже похолодели. Я стоял на коленях около их трупов, слезы мои падали на сырую землю. Больше делать мне тут было нечего. Единственный уцелевший из семисот расстрелянных в тот день евреев, я стоял в степи ночью и не знал, что делать, куда идти и зачем идти. Я сам, своими

руками закопал в землю свою радость, свою любовь.

В будке некоторое время царила тишина. Был слышен только шум дождя за стенами будки да повизгивание ветра. Лежавшие на нарах девушки зашумели.

— История,— сказал задумчиво Максим.— Живем мы тут, горя не видим, а там что делается! Как же нам работать надо, чтобы немец и до наших мест не добрался.

— До нас далеко,— отозвалась из темноты трактористка Анка Смородина.

Казакевич покачал головой:

— И у нас так говорили. Зачем, думая, торопиться, немцы еще далеко, успею, уеду. И собрался, когда они в город вошли. Выезжаю из ворот на улицу, а из-за угла немецкие танки уже выскакивают. Так я скорее лошадь повернул назад, и во двор, и ворота захлопнул. Ой, попал! Прокурор города тоже не успел уехать, так его повесили на главной улице на столбе.

— Как все это ужасно,— тихо сказала Сашенька.— Когда этому конец, когда война кончится. Максим, зажги лампу, не могу в темноте.

Чиркнула спичка, Максим зажег лампу. На тяжелом бригадном знамени, висевшем вдоль стены, заблестела позолота. Жмурясь от света, трактористки завздыхали, заохали — страшен к ночи был рассказ. Максим встал, выпрямился во весь рост. На стене будки позади его заплескала огромная уродливая тень.

— Если попаду на фронт, я ведь танкист, будь уверен, товарищ, за жену твою и за сына.. немцы будут меня помнить.

В печке догорали чурки, дощатые стены будки все так же поскрипывали, по стеклу единственного окошка, как слезы, стекали дождевые струи.

— Погодка,— посетовал Максим,— вторую неделю на стану, а бороновать не начинали. Вот, девушки, какие дела на свете творятся. Бегом мы должны работать.

Потянулся, зевнул:

— А теперь спать, товарищи, завтра, может, прояснится, бороновать начнем.

* * *

Максим вернулся с поля. Ни на кого не глядя, сумрачный, поднялся в будку, присел у печурки, с ожесточением стащил с ног сапоги, облепленные грязью, размотал прочерневшие от пота сырые портянки, стал развешивать на протянутой веревке.

— Грязно?— спросила Сашенька. Она сидела за столом, накладывала заплатку на комбинезон.

Максим не ответил, прошел за полог, было слышно, как отодвинул сундучок, стоящий под кроватью, долго возился, высунулся из-за полога, сердито спросил:

— Опять все прибрала. Где ботинки?

— В сундучке.

— Не нашел.

— Поищи лучше.

— А чорт!— одел на босу ногу легкие брезентовые полуботинки, прошелся по будке, сел на ступеньки. Закурил. Через плечо, искоса наблюдал за Сашенькой.

— Тоже дело нашла,— прошабрила бы подшипники.

— Ты мне ничего не говорил.

— Обязательно сказать надо, у самой догадочки не хватает, на все бригадир должен подтолкнуть.

— Устал, ляг отдохни,— примиряюще сказала Сашенька.

— Не обо мне речь,— неожиданно крикнул Максим,— привыкли все кое-как делать, а на сев выедем, начнете машины ломать.

Лежавшая на нарах Анка Смородина прыснула со смеху.

— На нашем бригадире, девоньки, с утра нынче воду возили.

Максим повел в ее сторону взглядом.

— Это ты брось, я тебе не Сёмка.

— Привязался к Сашеньке, жена, так, значит, можно орать и обижать?

— Тебя не спрошу, как поступать. И вообще дело не твое! Лучше скажи, крепления мотора проверила?

— Успею, еще когда выезжать.

— Когда бы не то, раз сказано, должна исполнять.

— Расфырчался, смотрите какой!— Анка села на нарах, подобрал под себя ноги,— плесни на тебя, зашипишь. Тебя бы вместо разжиги под котел, лапшу варить, а то тетка Аграфена жалуется—дрова сырые.

Девушки засмеялись. Это уже было слишком, Максим не на шутку рассердился.

— Я тебе не малайка и шутить не позволю. Вот если на бороновании у тебя встанет трактор...

Девушки сидели и лежали на нарах, томились от безделья: машины просмотрены, проверены, смазаны маслом, только воды подлить, заправить горючим — и заводи. Скучно! Стычка с Максимом — прямо развлечение. Анка легла на живот и, глядя своими зелеными глазами на Максима, озорно затынула:

Полюбила тракториста,
К нему в поле бегала,
Если б дома не ругали,
Расставанья не было.

Вот возьми ее! Максим прыгнул на землю. С девками и не связывайся—заклюют. Пошел по стану, не зная за что бы взяться. Постоял около тракторов, выстроенных в ряд за будкой, бесцельно и долго смотрел вдаль, в степь. Что делать бригадиру, если у него все готово к выезду в поле: машины выверены, проведены пробные выезды, раза по три обернулись вокруг стана. Моторы гудели ровно — ни стука, ни выхлопов, девушки рулили хоть куда, и он зря набросился на них. Всему причина—погода. Выезжать бы на пашню, пора бороновать, а тут, как нарочно, заладил дождь и льет и льет. Такая досада!

Максим крутнул головой: — Зашипишь, пожалуй.

Он с нетерпением ждал дня, когда введет трактор в борозду. Закрыл на минутку глаза и ему представилась живо вся картина. Плуги с легким шорохом вгрызались в целину. Черные, жирные, влажные от утренней росы пласты переворачивались, ложились гребнями один подле другого. И вот позади уже вытянулась широкая полоса свежей пашни, она отливала на солнце черным глянецом. Впереди, насколько хватал глаз,— степь и степь, Она медленно двигалась навстречу, покорно стелилась под колеса машины. Корпус трактора слегка вздрагивал, из выхлопной трубы, обдавая теплом, попыхивал сизый дымок. Машина шла прямо-прямо. От земли поднимался застойный упругий запах, в небе вился жаворонок и пел свою нехитрую песню... Эх, скорее бы! Разве девушки понимают это! Лежат в будке, орут во всю глотку, и голосистей всех Анка:

Я видала сон прекрасный,
Вижу: Гитлер окошел,
И родной мой сокол ясный
До Берлина долетел.

Максим завистливо подумал: „им и горя нет, а ты думай за всех“. Прошел к заправочному пункту. Около бочки с автолом на земле нашел шланг. „Растеряха, потом хватится“.

Поднял шланг, широко шагая направился к будке. Наконец-то нашел причину, чтобы излить свое недовольство.

— Сёмка!— позвал он горючевоза.— Сколько раз говорено: все к месту прибирай. Зачем бросил шланг?

— Не бросил, а положил,— ответил Сёмка Зеленцов, хромой, худощавый паренек,— где заправляться, там же и шланг.

— Поговори с таким. Рядом дорога проезжая, кинут в телегу, вот тебе и „заправляться“.

В обед приехал Червяков. Ногу с тарантаса—и сразу выговор:

— Думал где-где, а у Максима боронуют, а здесь, оказывается, тоже празднуют.

Максим вспыхнул:

— Садись за руль. Любую машину бери, а я погляжу.

— Почему же в других местах...

— Там, может, кур доят, а коровы яйца несут. Мне на этих машинах план весенний исполнять, и если я их в первый же день посажу...

— Сейчас день год кормит.

— Что мне об этом говоришь, будто радость на стану торчать.

— А вот торчишь...

Максим яростно надвинул на глаза кепку.

— Анка, заводи! Раз председатель велит, наше дело сторона, пусть пробует.

Анка заворчала: „загорелось“, однако встала из-за стола, за которым все сидели, и вразвалку, нехотя направилась к трактору. Максим тоже подошел к машине, начал ее заводить. Загудел мотор. Анка села за рычаги управления, Максим поместился рядом. Анка с места повела на второй

скорости, объехала будку, вывела трактор на дорогу. За увалом, метрах в ста, начиналась пашня. Все, бывшие на стану,—и трактористки, и Сёмка, и Казакевич гурьбой двинулись следом.

— Не пойдет, сыро.

— А может и возьмет.

Трактор медленно, неистово урча, пополз по пашне. Гусеницы, разбрызгивая комья грязи, вдавливали в сырую пашню глубокий зубчатый след.

— Идет!— обрадовался Червяков, шагая рядом с трактором.—Я говорил!

В этот момент правая гусеница завалилась в борозду, завертелась на месте, вырывая комья земли, увязая все глубже и глубже. Мотор ревел угрожающе. Звук звенел, поднимался все выше и выше, словно ввинчивался в воздух штопором. Трактор рвался вперед рывками, из-под гусениц фонтаном брызгала грязь. Еще сильнее, во всю свою мощь заревел мотор, трактор сотрясался от гигантского напряжения. Вдруг стало тихо, рев мотора сразу оборвался, как ножом подсекли.

Максим спрыгнул с трактора, полез в карман за табаком.

— Что хочешь со мной делай, а машину рвать не позволю. Будет, попробовались. Мне четыреста гектаров сеять. Анка, назад веди, на стан!

Червяков чувствовал себя неловко.

— Охота поскорее в борозду влезть.

— А мне думаешь не охота.

Вернулись на стан. Червяков подсел к столу, окинул взглядом окрест. Желая польстить все еще сердито поглядывающему на него Максиму, похвалил:

— Хозяйственно живете. И сеялки, и плуги рядком, и водовозка под руками. У других посмотришь: сеялки в одном конце, плуги в другом. А у тебя—все к месту.

Посидел с час, отведал лапши, поданной Аграфеной—была она бригадной стряпухой, похвалил, обещал молока присылать. На прощанье сказал Максиму полупрося, полуприказывая:

— Гляди, Максим, в оба, не прозевать бы. И тебе и мне сырые настроения припишут.

— Знаю,— ответил Максим.

— На бороновку коров с фермы пригоню. Сколько-ни-сколько сделают. А вы как только провянет — пахать, пахать, душевно прошу.

— За нами дело не встанет,— успокоил Максим.

На следующий день небо прояснилось, вскоре выглянуло солнышко. Над землей заструился пар, обволакивая степь белесой мглой. Максим нервничал, на всех кричал, попало даже тетке Аграфене:

— Заладила лапшу, хоть бы что-нибудь другое придумала. Народ начинает работать, кормить надо лучше.

Но только на четвертый день в обед начали бороновку. Максим ходил по пашне, прислушивался к гулу моторов и, не веря еще, сомневаясь, думал:

„Неушто пошли? Быть того не может. Никак взаправду открыли посевную“.

А в полдень началось то, чего он больше всего опасался. Первой расплавила подшипник Варя Плотникова — худенькая девушка-подросток, только что выпущенная с курсов. Еще издали Максим услышал характерный стук мотора, сорвал с головы кепку, замахал ею, давая сигнал остановиться. Варя не заметила или не поняла его и продолжала вести машину. Максим побежал по пашне, проваливаясь в борозды, бешено кричал:

— Подшипник расплавила!

Варя остановила трактор. Максим подбежал, не помня себя от ярости, заорал:

— Подшипник! Или оглохла! Слышь?

— А что? — Варя еще не понимала.

Максим рывком заглушил мотор.

— Слазь. Тебя на обезьяну бы верхом посадить да в цирке вместо клоуна показывать. Устряпалась! Теперь в МТС человека гнать, ты понимаешь или нет!

Варя как сидела за рулем, уткнулась в баранку и заревела.

— Этого еще не хватало. Кадры! — и столько презрения вложил в это слово, что Варя отвернулась и залилась пуще прежнего.

К вечеру у Зои Каргиной засорился карбюратор. Это совсем взбесило Максима.

— Варька хоть первый раз за руль села, а ты ведь второй сезон. Говорил: пропускайте масло через фильтр. Все лень, все как-нибудь.

— Ты дай горючее какое следует, потом спрашивай. Там только дегтя не хватает, все намешано, — кричала в свою очередь Зоя.

— Сам я, что ли, горючее произвожу?

Он возился около машин, стучал инструментом, фырлил отплевываясь.

— Навязал мне вас бес, когда избавлюсь. Пропаду, ей-богу, пропаду с вами.

Вечером, исходив за день по пашне километров двадцать, усталый, злой, голодный, Максим вернулся на стан. С поля один за одним возвращались тракторы. Началась смена. Только было присел на пустую перевернутую бочку, позвала Сашенька. Она просматривала свой СТЗ, готова выезжать в поле на ночь.

— Что-то не ладится с зажиганием, погляди, Максим.

— Пора бы самой во всем разбираться.

— Ты же учил.

— Я свою голову на твои плечи не посажу.

— Только и слышишь от тебя попреки.

— А то по головке стану гладить... За плугами следи! Сидят куклами, что позади делается — их ровно не касается.

Сашенька обидчиво сжала губы, взобралась на сиденье трактора, взялась за рычаги, повела свой трактор со стана. Максим долго смотрел ей вслед, качнул головой: „Горе с ними“, направился к будке.

— Ужин готов, Аграфена? Опять никак лапша?

Поужинали. Девушки сели на скамью у будки, затаили песню про деревенского паренька, который, уйдя на войну, никак не мог забыть знакомую улицу и девушку, сидящую у огонька:

И врага ненавистного
Крепче бьет паренек
За советскую родину,
За родной огонек.

Было еще холодно и сыро, но по многим признакам: по легкому движению воздуха, по запаху земли, по тому — какая стояла вокруг тишина, Максим ощущал весну. Он сидел один в сторонке, слушал пение девушек, и на душе у него становилось легко.

„Приучатся, пойдет дело. Спервоначально всегда так“...

* * *

Рано утром, только начали доить коров, на ферму пришел бригадир Слепов.

— Ты что же это? — накинулся он на Шарова, — солнышко поднимается, а ты все тут.

Шаров стоял посреди прохода между стойлами, заложив руки за спину. Он медленно повернул голову в сторону Слепова, посмотрел на него гусклым взглядом и ничего не ответил.

— Тебе говорю или кому? — повторил Слепов.

Шаров сопнул.

Слепов возмутился.

— Пойду сейчас доложу Червякову. В самом деле, спрашивать что ли стану...

Шаров пошевелил за спиной пальцами, буркнул:

— Подоят, запрягу.

— Да ведь там, в поле, ждут.

— Подождут.

— Тьфу! — не вытерпел Слепов и сердито зашагал к выходу.

Шаров медленно пошел по проходу, остановился около стойла, где Маслова доила Зореньку, постоял, молча наблюдая за дойкой, коротко сказал:

— Семена повезешь... — подумав, добавил: — с дочкой по-видаешься, — и зашагал дальше.

Доярки подоили коров, начали выводить их на двор. Утро было серое, туманное, ветренное. На речке пронзительно кричали гуси, от кузницы доносился глухой звон.

В сопровождении Слепова подошел Червяков.

— Запаздываете, женщины. Возишься долго, Яков Власович, бороновать давно надо, а ты все собираешься.

Шаров обернулся к дояркам, угрюмо сказал: — Запрягайте.

На бороновку язи, кроме колхозниц из полеводческих бригад, пошли Катерина, Евдокия, Ольга и Хабарова. Анне Степановне и молоденькой смешливой доярке Палаге поручили возить семена. Они повели коров на бригадный двор. На полпути их нагнал Червяков.

— Помогаешь, Анна Степановна? Так, так, если навалиться всем народом — за неделю управимся...

Шли, разговаривали.

— Новая учительница в школе твоя сноха?

— Моя. А ты откуда это знаешь?

— В школе трое моих обучаются, рассказывали.

— И что говорят?

— Да ничего, хвалят... Возить будешь семена, за весом следи, Анна Степановна. Недоразумений бы не было. Хлеб нынче дорог, соблазн велик. Следи строго!

Дошли до бригадного двора. Посреди его стояли фургоны и телеги. В углу, у сарая сложены одни на другие розвальни. Червяков помог запрячь коров, вывел со двора, на прощанье повторил:

— На тебя, Анна Степановна, надеюсь крепко. Не обессудь, это я велел нарядить тебя семена возить, — улыбнулся и зашагал по улице к мастерской.

Семена возить надо было из колхозного амбара на стан бригады Максима, в поле. Нагрузив подводу мешками с зерном, Анна Степановна отправилась в первый рейс, забыв захватить с собой варежки. Скоро руки околели. Шагая рядом с телегой, она грела их своим дыханием. Коровы шли медленно, спокойно. На душе у Анны Степановны было тихо, мирно.

„Червяков знает: зерно не возьму, не украду, зачем оно мне. Живем не голодаем, детишки сыты, чего больше... Валюшке платьице надо бы сшить. Сколько лет на фабрике работала, сколько ткани наткала, а сейчас лоскутка нет, передник нечем залатать. Ну, как-нибудь войну переживем, а там опять все наладим“.

По обе стороны от дороги, уходя в даль, лежала сумрачная, бурая степь, не ожившая еще после зимней спячки. И вспомнилось Масловой, как по этой самой дороге ехала она полгода назад со скарбом и детишками. Такая же тогда была степь — сумрачная, неприветливая и такой же, казалось, будет и жизнь. А вот вышло по-другому. Не думала, не гадала ткачиха, что через полгода повезет по этой же самой дороге колхозное зерно.

„Алексей удивляется: „Как ты, мать, быстро в колхозные дела вникла“. Вот вникла, и ко мне привыкли, за свою считают. Семена доверили — шутка ли!“

На стану ее встретил Максим. Издали замахал кепкой, показывая, куда следует везти зерно.

— На пашню везите, там сложим. Замерзли, мамаша? Да вы без варежек, ай, ай! Сейчас погрееетесь, мешков пяток сбросите, жарко станет, — и засмеялся.

Хотела было Маслова на него рассердиться — что за шутка над тещей. Но Максим уже взял из ее рук повод, сам повел коров, крикнул тетке Аграфене, возившейся около котлов:

— Щец подогрей, покормим тещу.

— Не хочу, я завтракала.

— С нами еще разок.

— Не хочу. Где Сашенька?

— Вон там, за бугром,—мотнул Максим головой куда-то в сторону.

На пашне он сам сложил мешки на землю, гостеприимно пригласил зайти в будку.

— Поглядите, как живем... Позавтракали бы, ей-богу. Щи мясные.

В будку Маслова заглянула, осмотрела все убранство, ничего не сказала—видно, понравилось. От щей решительно отказалась:

— Спасибо, я сыта.

— Соскучились по дочке? В обед тут будет, приезжайте.

Маслова молча влезла на телегу. Максим снял с рук варежки, протянул теще.

— Наденьте, мамаша.

— Не надо.

— Ведь руки озябли.

— Домой еду, не из дому. Не надо,—и хлестнула прутиком коров.

Максим усмехнулся: что будешь делать, теща! Они все такие.

Весь день возила Анна Степановна семена. Так с Сашенькой и не удалось повидаться—все в поле и в поле. Вечером вернулась домой усталая, продрогшая, но довольная собой.

— Триста пудов перевезла,—рассказывала она Ксаше за ужином,—знаешь, сколько посеют земли?

— Сколько?—спросила Ксаша.

Маслова рассмеялась:

— Максим говорил, забыла я, но только много.

— А мы к весенним испытаниям готовимся,—сообщила Ксаша.—Сегодня контрольную работу проводила... Дочке Червякова единицу поставила.

— Что это?

— Ленился, думает, если дочка председателя, можно не заниматься.

— Это правильно, конечно, правильно,—согласилась Маслова, поднимаясь из-за стола. — Спать хочу, ох и спать хочу!

IV

Проснулся Максим от холода. Одеяло сползло на пол, спина обнажилась, и он испытывал неприятное покалывание: сквозь щель в стене будки проникала струя воздуха. Натянул одеяло, пошарил около себя рукой—Сашеньки не оказалось.

„Ее смена,—вспомнил,—в поле, пашет“.

Хотелось спать, но он пересилил себя, поднялся, обул сапоги, набросил на плечи телогрейку. Толкнул ногой наружную дверь. В будку ворвался холодный ветер. Кто-то спросонья заворчал: „Закрой дверь, не лето“. Максим стоял в дверях, подставляя весеннему ветру открытую грудь. Перед ним невидимая в темноте лежала степь, он угадывал ее по еле уловимому запаху теплой прели, тому особому запаху, к которому привык с детства. Прислушался: раздавались неясные шорохи,

казалось, кто-то крадучись ползет по земле. Только острый слух человека, выросшего в степи, мог уловить эти шорохи.

„Травы растут,—подумал,—весна!“ и ощутил знакомое чувство томления и подмывающей радости. Все его молодое, сильное тело напряжилось. Весна! Каждый год он обрабатывал на тракторах тысячи гектаров земли и каждую весну по-новому переживал свое общение с землей.

Далеко в степи появился свет, встал столбом над землей, прорезая ночную темноту. Вот в другом месте озарилась степь. Донесся приглушенный расстоянием рокот моторов. Максим по звуку распознал машины.

„СТЗ, Мария Капустина пашет, а тот дальний—„Универсал“ чихает, а за бугром — НАТИ, Зойка Каргина. А где же Сашенька, ее СТЗ что-то не слышать. Стоит. Пойду, проверю“.

Одел в рукава телогрейку, нахлобучил кепку, нащупал в кармане гаечный ключ и отвертку, сунул на всякий случай свечу. Было темно, но он шел уверенно, зная местность по памяти. Сейчас будет лощина, за нею—бугор, потом потянется кустарник, росший у старой, заброшенной плотины, где когда-то пруд был, за кустарником начнется клетка номер шесть, там должна быть Сашенька.

„Зачем потушила свет? Мимо пройдешь и не заметишь“.

Спустился в лощину; неприятно охватила прохлада, даже вздрогнул. Вбежал на бугор, остановился. Никого. „Странно, куда же она девалась?“

— Сашенька!

Тишина. Направился вдоль кустарника и недалеко от плотины увидел очертания машины. Трактор был заглушен. Сашенька, положив голову на руль, крепко спала. Максим в первое мгновение оторопел.

— Вот это так, вот это здорово,—удивился он,—спит!

Сашенька очнулась, сырым спросонья голосом сказала:

— Совсе не сплю, так немного отдыхаю.

— „Отдыхаю“,—передразнил он и, закипая внезапным гневом, крикнул:—зачем машину приглушила?

— Мотор греется, не тянет. — Сашенька спрыгнула с машины на землю.

— Надо было проверить, может, карбюратор засорился или свеча лопнула. Почему меня не вызвала?

— Жалко тебя будить, ты днем замучился.

Максим вспылил:

— Дура! Мужа жалеешь, бригадира подводишь.

— Ругаться ты очень начал, кто я тебе—батрачка,—обиделась Сашенька.

— Батрачка! Вон что! Городские фокусы-покусы выкидываешь. Я тебе покажу батрачку. Самолюбие задел! Тебе машину доверили, так должна блюсти ее, а ты что делаешь. Спать вздумала!—Он откинул капот, начал наощупь проверять двигатель.—Завтра на доске показателей учетчица напишет: „Александра Маслова за смену напахала два гектара“. Приедут из

района, увидят, спросят: „Кто такая Маслова? Не твоя ли, Максим, жена?“ Глаза мне куда девать от стыда?!

— Если будешь кричать, уйду. Все стали замечать, как ты меня поносишь. Надоела, так и скажи, не заплачу.

— Дуришь, Сашенька, дуришь.

— Уйду.

— Я тебе уйду.

Завел мотор.

— Так и есть. Неужели не слышишь! Трсит. Скажи, что произошло в двигателе?

— Не знаю.

— Ну, не дура ли! Чему тебя на курсах учил.

Сашенька закрыла лицо руками, всхлипнула.

— От тебя только и слышишь: дура да дура.

— Это ты брось,—Максим не переносил женских слез,— перестань, говорю!

Она повернулась и медленно пошла прочь.

— Постой, ты куда?

Сашенька исчезла в темноте, лишь было слышно шарканье ее ног по траве.

— Товарищ Маслова, вернись!

Шаги удалялись.

— Я приказываю вернуться.

Ни звука, уже и шагов не слышно.

— Сашенька, тебе говорю!

Тишина.

Максим постоял в недоумении, обескураженный, смущенный. Полез было в карман за табаком, не оказалось табашницы—забыл на столе в будке. Это совсем расстроило.

— Вот чорт, и курить нечего. Ушла! Бросила трактор и ушла, — скорее удивился, чем возмутился. — Поди с такими поработай.

В раздумьи прислонился к крылу машины.

„Ладно, Сашенька, завтра поговорим. Это тебе даром не пройдет. Жена женой, а дисциплина само-собой. Будь спокойна, я тебе покажу—что такое бригадир. Ладно!.. Что же теперь делать? Дьявол-девка! До смены еще часа три... Ну, погоди, Сашенька, погоди“...

Он сменил свечу, взобрался на сиденье, выжал ногой педаль, взялся за рычаг.

„Погоди, Сашенька, погоди“.

На стан привел трактор к рассвету. На стану было еще тихо и пустынно. Спрыгнул с трактора, медленно, раздумывая, побрел отдыхать.

В будке было темно и душно, кто-то занавесил единственное окно платком. Слышалось ровное дыхание спящих. Подошел к своей кровати, откинул полог. На кровати, подложив кулачок под голову, крепко спала Сашенька. Ее лицо было безмятежно спокойно, от длинных ресниц на округлые щеки падала тень, и это придавало лицу выражение детской наивности. Он смотрел на нее, и его охватила нежность и жалость.

„Нам привычно, ей, конечно, тяжело работать ночью в степи. Ишь, как сладко спит, ну пусть отдыхает“.

Сашенька, видимо, почувствовала его пристальный взгляд, затревожилась во сне, ресницы ее вздрогнули. Он быстро запахнул полог, отошел поспешно к двери.

Со степи к стану, пыхтя, пофыркивая, подходили с загонов машины. Анка Смородина на своем НАТИ сделала широкий круг, остановилась около заправочного пункта. Подошел „Универсал“. С бугра медленно сползал последний СТЗ. Стан просыпался, начиналась обычная жизнь. Заправщик Сёмка, прихрамывая, пронес ведро с лигроином.

— Никак, сам пахал,—спросил он.—Сашенька заболела?

— Иди, иди по своему делу.

Аграфена разжигала костер, крикнула от котлов:

— Бригадир! Соли нет, кашу солить нечем. Вчера наказывала привезти, не захватили.

— О соли мне еще думать,—в сердцах ответил Максим,—и без твоей каши хлопот не оберешься.

Повернулся, крикнул в темноту будки:

— Вставай, народ, пора! На смену! Лизка, слышишь?!

Лиза Бугрова была сменщицей Сашеньки. Дня три назад с ней беда случилась: ногу обожгла.

— И как тебя угораздило,—спросил Максим, когда, стоная и причитая, она с трудом поднялась по ступенькам в будку и, не раздеваясь, как была, в замаслянном комбинезоне, повалилась на постель.

— Мотор подогривала, упустила огонь, ну и вот...

— Чудно! Что же ты на моторе верхом сидела?

Лиза путанно и долго объясняла, и Максим догадался: Лиза, видимо, желая погреться—ночи-то холодные—разожгла костер около трактора, прикурнула рядом, уснула, ноги-то и обожгла — бывали такие случаи.

— Сама виновата, в следующий раз с огнем будешь осмотрительнее...

Две смены Лизу подменяла Зоя Каргина (в ее тракторе сменяли поршневую группу), а нынче все тракторы на ходу, некому подменять, и Максим еще настойчивее позвал:

— Лизка, вставай!

— Зачем?—сонно спросила Лиза. Она лежала на нарах за печкой.

— В чижика играть,—иронически ответил Максим.—Кто за нас посеет, американец, да?

Лиза громко зевнула, повернулась на другой бок.

— Вчера в больницу ходила, говорят, „возьми бюллетень, нельзя тебе работать“. Не надо, говорю, мне вашего бюллетеня, бригадир все равно пошлет бороновать.

— Точно,—подтвердил Максим.

— А как бороновать, когда ногу раздуло, терпенья нет?

Он стоял в дверях, наблюдал за Лизой. Охая, она села на постели, стала гребнем расчесывать волосы.

— Брошу все и уйду.

— Не бросишь, врешь, ты не такая. Сама знаешь, некого на трактор посадить.

— А если ломит?

— Знаю, с ожогом не шутят. А как на фронте? Ранят бойца, а он товарищей не бросает, остается в строю и дерется героически. Мы ведь тоже бойцы, поставь себя на их место.

— Поставь,—обиженно возразила трактористка.—Больше нашего и так никто не работает. С весны и до заморозков, как лошади в хомуте.

— Плохой бригадир, работать заставляет, да? Так и скажи... Зерновые мы должны засеять в семь дней, обязательство ты подписывала?

Лиза молчала.

— Я спрашиваю, подписывала? Нужно сеять, или пусть лебеда растет? Что молчишь?

Лиза вздохнула, не спеша повязывала на голове платок.

— Нет, ты скажи, должны мы сеять или союзники из за моря приедут, тракторы поведут в борозду?

— Что пристал, видишь, иду.

Лиза обернула ногу портянкой, одела разношенный ботинок, поднялась, поморщилась от боли.

— Ой! С нашим бригадиром и хворь к людям не пристанет.

— Иди, иди, раскудахталась,—его голос звучал уже ласково.

— Максим,—тихо позвала из-за полога Сашенька.

Он нахмурился, сделал вид, что не расслышал, спрыгнул на землю, направился к заправочному пункту, где уже заправлялись машины.

* * *

— Трудно? Нет теперь у нас такого слова, забудьте его. Трудно на небо влезть, да и то сейчас наши летчики ковыряют небо почему зря. Конечно, на постели спать куда приятнее, чем в поле ночью за рулем сидеть. Но мы должны это делать, если мы русские люди. А мы русские люди и немцу шею подставлять не хотим. И не подставим! Никакого права нам никто не давал говорить—„трудно“, пока идет война.

Голос Максима звучал жестоко и строго. Он ни на кого не смотрел, лицо у него было нахмуренное и злое. Разговор происходил за столом, утром, только что позавтракали. На столе еще стояли неубранные чашки и ложки. Напротив Максима, притихшая и растерянная, сидела Сашенька. Она испуганно глядела на мужа, не узнавала его. Это кто-то другой, очень похожий на него, но не он. Ее Максим никогда не был таким. Какой строгий, совсем, совсем чужой.

„Что я наделала? — холодея думала она,— Максим шутить не станет. Хоть бы взглянул на меня?“

А он даже не смотрел в ее сторону, будто и не было ее за столом.

— Пропущенный час годом не нагонишь. Это понять нужно, а что делается у нас? Дисциплина—никуда. Взять Маслову, — и тут впервые взглянул на Сашеньку, но что это был за взгляд!—

это же форменное безобразие: в поле на тракторе уснула, потом бросила трактор и ушла в будку досыпать.

Все повернули головы, смотрели на Сашеньку. Она покраснела.

— Я не спала.

— Только с храпом беседу вела. Это как называется, товарищи? Это называется дезертирство с трудового фронта и больше ничего! За такие дела судить надо, есть такая установка, судить и все—безо всяких разговоров.

Сашенька сидела ни жива, ни мертва. А вдруг и в самом деле засудят!

За спиной Сашеньки, скрестив на груди руки, стояла Аграфена.

— А ты жену не пугай, гляди, на ней лица нет.

— Тут нет жен,—зло ответил Максим,—коль до дела дошло, ни жены нет, ни брата.

— Сашенька днем помогала мне кольца шабрить,—заступилась Смородина,—а уснула немного, так что же сразу и судить.

— Спать в борозде тоже не положено,—сказала Зоя Каргина.

— А ты, поди, не спишь?

— Если и сплю, тебе что! Норму даю.

— Нельзя допустить такой распушенности,—не унимался Максим,—и неправильно говорить: сплю, а норму даю. А не спала бы—две дала, ущерб не получился бы... Буду требовать дисциплину, не посмотрю—жена ли, кто ли. И предупреждаю, товарищ Маслова, чтоб это в последний раз. Застану еще раз спящей, нянчиться не стану, под суд загремишь.

— В другую бригаду уйду, не останусь,—осмелела Сашенька,—и днем и ночью покоя нет: то в мастерскую за валами посылают, то требует: „социалистическую помощь окажи“, а у меня и руки уже не двигаются.

— Бригадир наш видит, когда кто уснет на час, а работы не замечает,—пробурчала толстуха Вера Зайцева,—неделю на севе, а погляди всех измотал.

— Ну, тебя самую в плуги можно впрягать, слава богу, лебедушка,—голос Максима звучал уже мягче.—Вот кончится война, вернутся с фронта ребята, соберемся все вместе и вспомним тогда, как трудились, как воевали, как добывали победу. Приятно будет сказать: и мы победу делали. Работать давайте, девушки, кому же сейчас легко!

— Кто-то пылит,—сказала Зоя Каргина, всматриваясь в степную даль.

Все обернулись. По дороге от села во весь опор мчался всадник.

— Сукин сын, лошадь не жалеет!

— Не пожар ли?

— Без дыма. Кто бы это?

— Егорка,—узнала Сашенька.

— Он, он, локтями, ровно птица, взмахивает. Баловник, лошадь гонит, кнутом бьет.

— Всыпать бы ему самому этим кнутом.

Еще издали Егорка замахал рукой, что-то закричал. Подскакал, прыгнул на ходу с лошади.

— Максима в совет требуют. Вот бумажка.

Максим взял в руки клочок синей тонкой бумаги и сразу одним взглядом вобрал напечатанные на машинке строки, столько раз читанные у других товарищей... „Райвоенкомат извещает, что вы, согласно приказа НКО... мобилизованы в ряды Красной Армии и вам надлежит“...

Он медленно свернул повестку, размыскал глазами Сашеньку, все еще сидящую за столом, и был его взгляд прежний — максимовский — ласковый, добрый и чуточку задумчивый. И она, уже забыв про ссору, забыв угрозы, потянулась к нему вся, попрежнему любящая, преданная, сердцем чуя тревогу.

— Максимушка, — сказала еле слышно, и в тоне, каким произнесла это имя, были и любовь и волнение.

Он улыбнулся, но улыбка вышла невеселая, растерянная. Максим отвел глаза, посмотрел на обступивших его трактористок и грустно, совсем не по-бригадирски сказал:

— Вот, девушки, не доведется сев вместе кончать. Ругали меня, а вспоминать будете, ей-богу, будете. Уезжаю.

— Куда? — спросила Анка.

— Туда же, куда и все уехали. Тебе, Анка, за старшую придется остаться. Девчат не распускай, гляди в оба за ними.

— Погоди, не пойму... И тебя, значит?

— А что я за птица?

Сашенька порывисто встала.

— Максимушка!

Он взял ее руку в свои широкие ладони, крепко пожал.

— Не расстраивайся, Сашенька, живи спокойно, работай. У подруг совета спрашивай. Вы, девушки, помогайте друг другу, только чур, в борозде не спать! — Улыбнулся, тряхнул головой, обратился к Казакевичу: — не ждал, не гадал, что так скоро с немцем придется встретиться.

Сашенька припала к его плечу, громко всхлинула. Он нахмурился:

— Ну, это лишнее, ты знаешь, я не люблю слез.

Через час он уже ехал вдвоем с Сашенькой на тряской скрипучей телеге, на которой Аграфена возила из села хлеб и другие продукты. По обеим сторонам дороги зеленели озими, Над озимями в вышине трепыхались жаворонки, звонкая их песня разносилась далеко. День обещал быть теплым, солнечным. Максим с грустью подумал, что вот уедет он, и все останется по-прежнему, как будто ничего не случилось.

Сашенька... опустил голову, молчал и Максим. Много нужно сказать жене перед расставанием, перед выездом на фронт. Хотелось сказать что-то важное, нужное, но у него не было мыслей. Ему хотелось сказать, что в МТС надо получить облигации, но у него не было времени. Он только взял из пошивочной мастерской брюки...

Взглянул на Сашеньку, увидел нежный завиток волос у виска, по-детски пухлые губы, и стало нестерпимо жалко ее.

— Грустишь, Сашенька? Кому утонуть, тот не сгорит. Вернусь—заживем славно. Лучше, если с матерью моей останешься жить, все-таки старухе не так будет тошно.

Сашенька слушала, вздыхала, со всем соглашалась. Трогательно просила поберечься, не лезть на рожон. Максим нетерпеливо дернул плечом:

— Трусом предлагаешь быть? Сколько живем, а меня не знаешь. Нет, милушка, трусом не буду, в кусты не полезу, шкуру спасая. Помнишь, Алексей про храбрость рассказывал. Я эту храбрость в себе разыщу. Будь уверена!—Хлестнул лошадь, крикнул:—Вперед, карий, танкиста везешь!

У села встретились с Червяковым. Он ехал в тарантасе, в оглоблях—племенной жеребец. Увидел Максима, придержал вороного, слез с тарантаса. Остановил свою лошадь и Максим, прыгнул с телеги.

— Эх, Максим. Как сообщила Мочалова, я тут же по телефону в райком. Первого секретаря, конечно, нет, где его сейчас найдешь. Никиткин, по кадрам, подошел к телефону. „Почему, спрашиваю, самого лучшего забираете?“ „А туда, говорит, разве не лучших надо посылать?“

Максим горделиво улыбнулся.

— Там самые лучшие нужны.

Червяков снял кепку, вытащил из кармана клетчатый платок, вытер шею и лоб.

— Конечно, война идет не шутейная, люди там нужны первой статьи. Но ведь и нам тут какво! Шарова забирают, и Зеленцова. Вчера был в бригаде Слепова. Подъезжаю, смотрю: быки стоят впряженные в борону, траву щиплют, а где же бороновщики? Что же ты думаешь—сидят двое: Матрены Проскудиной да Аграфены старший, лет по двенадцати орлы, у обоих носы в крови, морды красные, в слезах. „Вы чего?“ Молчат. Оказывается, поспорили—чьи быки лучше и подрались. Каковы! Поработай с такими.

— Вот тебе кадра,—Максим шутливо кивнул на Сашеньку. Она сидела в телеге попрежнему грустная, расстроенная, не до шуток.

— Что буду делать?

— Управишься.

— Придется.

Со стороны села раздался хлопок, другой, третий, та-та-та, будто прошли воздух очередью из автомата. Червяков повернул в ту сторону голову, прислушался, на его лице появилась слабая улыбка.

— Мельница заработала. Пустил! находка—этот Маслов.

От села неслись мерные такающие звуки работающего двигателя, эти звуки бодрили, успокаивали.

— Хоть тут пошло дело. И так всегда: одно наладишь, другое упустишь... Ну, как там у вас, много забороновали?

На прощанье Червяков расцеловался с Максимом по-русски, троекратно; пожимая руку, сказал дрогнувшим голосом:

— Смотри, Максим, не подведись. Бей их, паразитов. От всей души желаю...

Максим дернул книзу кепку—жест, выдававший душевное волнение.

— Если в случае чего, не оставь жену, помогай ей.

— Зачем говоришь, Максим, сам знаю. Ну, прощай. Эх, парень-то какой!—с сожалением воскликнул Червяков.—А ты не плачь, Сашенька, вернется героем, гордиться будешь, зачем прежде времени расстраиваться. Женщина! Только бы поплакать...

V

В это время Шаров прощался с фермой. Заложив руки назад, ссутулясь, он медленно шагал вдоль стойл. Лицо его было, как всегда, равнодушно и нельзя было распознать, какие мысли занимали его в эту минуту. Катерина, подавленная неожиданным и стремительным ходом событий, шла рядом. Она часто вздыхала, искоса поглядывая на Шарова:

— Ты бы, Яков Власыч, на-последки слово бы мне какое сказал, вроде наставления. Сколько годов управлялся, а я, ну какая же заведующая.

Шаров только рассеянно взглянул на нее, молча прошел дальше.

— Скоро коров на пастьбу погоним, ферма освободится, о ремонте бы подумать. Камыш для крыши, пожалуй, самим нарезать, а?

— Самим, конечно, — согласился Шаров.

— И глины припасти заранее надо, — вслух раздумывала Катерина.

— Заранее лучше, — подтвердил Шаров.

Катерина слегка повела плечами.

— Зря меня в это дело впутали. Говорила Червякову, а он — свое: справишься. Тут надо грамоту знать, где распорядиться, где что.

Шаров пошевелил за спиной пальцами.

— Обомнется.

— Околою на работе. Одни бабы остались, с ними беда.

— С бабами беда, — согласился Шаров.

— Мужика сюда надо, Ивана Силантьича, сторожа, хотя бы поставили. Бабы меня слушаться не будут.

— Может, и не будут. А Силантьич не способный, старый.

Дошли до конца прохода, остановились. Шаров окинул долгим взглядом помещение фермы. Взгляд его был задумчив и тускл.

„Прощается“, — подумала Катерина, и ей стало жалко этого молчаливого, диковатого мужика.

— Скликну доярок, поговори с ними.

— Зови, — безучастно ответил он.

Доярки, падкие до новостей и разных происшествий, собрались быстро, сбились в кучку, вполголоса разговаривали.

Шаров стоял сутулый, грузный, заложив руки за спину, равнодушно поглядывал на доярок. Вид у него был обыденный; посторонний человек и не подумал бы, что в жизни Якова Власыча происходит важное событие. Он привычно откашлялся и произнес свою прощальную речь, самую длинную из всех когда-либо произнесенных.

— Стало быть, прощайте, — начал он, — уезжаю. Замест меня Катерина поставлена. Слушайте ее. Сами знаете—врозь будете жить, добра не наживете. О нашей ферме области известно. Это не с воздуха взялось. И дальше старайтесь, спасибо скажем, когда вернемся. А ежели не придется свидеться...

— Куда денешься, — перебила Евдокия, — еще водку вместе поьем.

— Кто знает. Коли что, не поминайте лихом. Вместе трудились, вместе добро колхозное добывали.—Снял шапку, низко поклонился. — Спасибо на том.

Все заметили, как по его лицу скользнула тень, дрогнули щеки. Но это только на один миг. Вот он нахлобучил шапку. И лицо его снова приняло обычное, спокойно-равнодушное выражение. Считаю, что выполнил все, что полагалось в таких случаях, Шаров, ни на кого не глядя, еще больше ссутулясь, тяжелый, неуклюжий, зашагал к выходу. Распахнул дверь, захлопнул ее за собой с громким стуком.

— Жил не шумел, а ушел, гроыхнул. Не к добру, — сказала телятница Дарья.

— Закаркала, ворона, — оборвала ее Маслова, — готовы по живому человеку панихиду служить.

— Жалко, — произнесла Катерина, — осиротели мы, бабоньки... Все-таки мужик...

— А то без него не управимся, — хорохорилась Евдокия, — ты мне хоть попугая в заведующие поставь, а если я свое дело знаю...

— Ты такая, а мне какво.

Всю свою жизнь Катерина трудилась по хозяйству. Великое множество дел знала: картошку на огороде полола, снопы на жнитве вязала, сено копнила, зимой солому с гумен возила, рубила дрова, косила рожь, рыла колодцы, хлебы на артель пекла. И всегда, всю жизнь кому-нибудь подчинялась: в детстве—отцу с матерью, потом—мужу, в колхозе—председателю, бригадирю, заведующему фермой. И никогда за всю свою жизнь никому сама не приказывала, не имела подначальных людей. И вот—на: назначили заведующей фермой. Под ее началом два десятка доярок и телятниц, в ее ведении обширное хозяйство, не у каждого барина-помещика прежде было такое: сто пять дойных коров, более ста телят, сорок полуторниц. А сколько инвентаря! Сепараторы, дойницы, железные и деревянные кадушки, ведра, лопаты, вилы. Все эти привычные предметы, которые видела ежедневно, сейчас, когда стала заведующей, приобрели в ее глазах особую ценность — за их сохранность и целостность с нынешнего дня отвечала она. Когда утром Шаров сдавал все это имущество по описи и не оказалось ло-

паты и дойницы, она встревожилась: а ну как у нее растащат все это добро? Пока Шаров был рядом, она еще бодрилась, но вот ушел, и она совсем растерялась. Ходила по ферме с таким видом, точно забыла что-то, искала и не могла найти. Это заметила Маслова, взяла Катерину под руку, увела в молснучю.

— Пойдем, поговорить надо... Трусишь? — спросила она, когда остались одни.

— Анна Степановна, забот сколько, разве управлюсь?

— С таким настроением не справишься. А ты не бойся, ничего страшного. Вида не показывай, что тебе трудно, держись так, будто все тебе нипочем, все знаешь.

— Тебя бы заведующей поставить.

— Я — залетная. Утихнет гроза, снова в родное гнездо, на старое место вернусь. Тебе тут жить, тебе хозяйевать. Ничего, Катерина, миром будем править, мир — сила великая. Привыкнешь, еще какой заведующей станешь.

— Разум бабий наш тугой. Дел — прорва. Шаров — бирюк, его ничем бывало не доймешь, а у меня характер беспокойный, все тревожит.

— Хозяйка!

— Когда еще ремонт, а я уже думаю — камыш надо бы запасти. Как подрастет, свежий, зеленый, его и косить легче. Глины навозить заранее, самим придется ферму обмазывать. Дел столько — голова кругом идет. И сено косить, и силос закладывать, кому править — все нам.

— Не все вдруг, и сено накосим, и глину припасем, и камыш нарежем.

— Кизяки делать, тоже нам.

— Трудно, кто говорит. Но ведь без труда не выловишь и рыбки из пруда. У тебя дело пойдет, вот увидишь. — Маслова обняла Катерину, ласково притянула к себе, — хозяйка моя славная, не робей, поможем.

Гремя дойницами, вошли доярки. Впереди всех Евдокия. Поставила на стол полную дойницу.

— Заведующая, принимай удой.

Катерина с покорным видом, подчиняясь необходимости, под села к столу, раскрыла лежащую на нем книгу, взяла оставленный Шаровым карандаш:

— Чем порадуешь, Евдокия? Много нынче надоила?

Новая заведующая фермой вступала в свои обязанности.

* * *

Стойбище находилось в километре от села, за речкой. За стойбищем, вдоль пологих холмов, поросших пыреем и цветистой пахучей кашкой, начиналось пастбище. Сюда на подножный корм перегнали стадо, как только потеплело, и затравянились холмы. Стадо паслось и ночевало в степи. Каждый день по три раза — утром, в полдень и вечером — ходили сюда доярки доить коров. Молоко после обмера сливали в бидоны, и тетка Наталья, специально к этому делу приставленная, от-

возила их в село на сливной пункт. Наталья неизменно приглашала Маслову сесть на развозку, доехать до пастбища, та обычно отказывалась, шла пешком. Было приятно идти по степи на заре, вдыхать свежий, прохладный воздух, прислушиваться к пению птиц; по утрам они бывали особенно хлопотливы и голосисты. Анна Степановна разувалась, шла сбоку дороги, сбивая ногами серебристую росу. С детским восторгом наблюдала она восходы солнца, и когда огненный шар величаво и медленно выкатывался из-за дальнего кургана, испытывала волнуемую радость; хотелось поклониться солнцу — источнику всего живого, мудрого, прекрасного. В городе она, бывало, спешила по утрам на фабрику и не обращала внимания на солнце — некогда было, да и крыши зданий скрывали его. По-настоящему, во всей красе увидела солнце старая ткачиха здесь, в селе, в степи, на стойбище, во время утренних доек.

От коров пахло полынью, парным молоком, оно было густое, жирное, и это тоже радовало Анну Степановну. Встречая Катерину, Маслова подбадривающе улыбалась:

— Дело идет не хуже, чем при Шарове, а ты боялась.

У Катерины постоянно озабоченное лицо, она — вся в думах, в тревоге, в ожидании неприятностей.

— Кизы пора делать, а там — сенокос, а там — силос закладывать.

— И кизы сделаем, и сенокос проведем. Помни только наш уговор.

Кизы делали во дворе у фермы. Вилами разбросали по двору накопившийся за зиму навоз и принялись месить его ногами. Лошадьми надо бы, да где их взять? Катерина прямо заявила:

— Червяков одну дал — воду возить, и на том спасибо, а то потаскали бы на себе... Заходи с края. Это для глаз кажется много, а взяться и не заметишь, как кончишь. Ну, бабоньки, ног не жалей!

Анне Степановне она предложила заняться резкой брикетов:

— Это полегче.

— Я ни от какого дела не откажусь.

— Знаю, ну зачем тебя еще неволить.

Евдокия понимающе поджала губы:

— Нельзя, нельзя, кто к чему способность имеет, пусть то дело и справляет, — и взяла в руки лопату.

— Тебе бы навоз мять вместо лошади, — сказала Ольга.

— Не твоя, матушка, печаль — забота. Заведующая знает, кого куда поставить. Ежели у меня в грудях стеснение и ломота, по всем ночам не сплю, какая же из меня работница, — и решительно зашагала с лопатой к краю распластанного по земле навоза. Маслова переглянулась с Катериной, усмехнулась:

— Не трогай, пускай, вместе будем резать.

Высоко подоткнув юбки, пачкая до колен ноги, доярки уминали бурюю жижу. Мишка, сын Аграфены, подвозил в бочке воду, подавал дояркам полные ведра. Оглядывался по сторонам,

вертел длинной худой шеей: ребята - сверстники еще вчера звали на рыбалку, а тут изволь — воду вози. Опорожнив бочку, каждый раз спрашивал:

— Еще что ли, может, хватит?

— Вози, знай, не ленись, до обеда далеко.

Маслова принялась резать лопатой умятый навоз. От него поднимался густой, тягучий запах. Было непривычно и неудобно действовать лопатой. Маслова вскоре устала. Оторвалась от работы, оперлась на лопату, наблюдала за доярками. Они ходили по кругу, высоко поднимая ноги, их обветренные, загорелые лица лоснились от пота.

— Притомилась? — участливо спросила Евдокия. И именно потому, что голос ее звучал сочувственно, даже ласково, Маслова настожились.

— Конечно, который человек не привык к крестьянству, ему тяжело от нашего дела. Нам все одно — косить ли, пахать ли.

Маслова недоверчиво посмотрела на Евдокию. Лицо у той было непроницаемо.

— Жалостлива стала, с каких это пор.

— Привыкли Евдокию поносить, Евдокия хуже пса, только и знает — лает.

— Зачем себя унижать, только жадности в тебе больше, чем росту.

— Не забудешь, все попрекаешь.

— Не могу забыть. Ты меня бы словом дерзким обозвала, избила, легче было бы. Кому, солдатам пожалела! Они там кровью умываются, какую страду ради нас переносят, а ты им, ровно нищему, подачку — пуд.

Евдокия вся передернулась.

— Я потом центнер давала, — крикнула она.

— Не в центнере дело. Душевную ласку надо приложить. Отец Вали рассказывал: подарки им на фронт к новому году прислали, в его посылочке — вино, печенье, всякая всячина и между прочим — обыкновенный носовой платок. Показывал мне его — подрубленный, в уголке незабудка шелком вышита. Записка: „Платочек готовила Надя, ученица второго класса“. Этот платочек он на груди носит, не сморкается, не пачкает, ни-ни... Любить надо людей. А ты, Евдокия, любила ли кого-нибудь, ну, скажи, хоть разок по совести?

— Привязалась! Любовь, платочек, тьфу! — Евдокия с ожесточением ударила лопатой по навозу, — закадила, ровно дьякон в церкви. Ежели захочу — лопнешь от зависти.

— Радоваться буду, если другой станешь.

— Евдокия такая-сякая, немазаная, вредная, вроде суслика. Да я, матушка, коль на то пошло...

Она выпрямилась и злая, раскрасневшаяся, с прилипшими ко лбу мокрыми от пота прядями волос, крикнула:

— Давай четыре раза в день доить коров, давай, коль на то пошло.

Маслова удивленно подняла брови:

— Давай, я согласна.

— Все валят на Евдокию, бесчувственная-де она, чурбак. Я заставлю себя привечать, ты еще вспомнишь меня.

— Чего бахвалиться. Давай, я давно зову соревноваться. Евдокия еще ворчала:

—А то, подумаешь, попреки: совести нет, совесть со мной на веревочке привязана.

Маслова про себя ухмылялась: кажется, доняла толстуху.

VI

— Люди имеют двух противников: самого человека и природу. Это, кажется, Дидро сказал. Природу легче покорить и подчинить, а человека!.. Как трудно жить в наше время.

Перепелица сидел на пороге мельницы, задумчиво смотрел вниз на речку. Ветлы на берегу покрылись нежным зеленым пухом первых листочков. Светило ласковое весеннее солнце.

— Не легко,—согласился Алексей.—Он сидел рядом, старательно смазывал запасный подшипник; в этом не было особой необходимости, но Алексей привык всегда что-либо делать.— Человек очень беспокойное существо, и это нас спасает, иначе—ни науки, ни искусства, не было бы никакого прогресса. Я не представляю жизни без забот, без творческого напряжения, без труда.

— Труд должен быть наслаждением, а не повинностью.

— Совершенно правильно, а что вам мешает выбрать занятие по вкусу?

— Профессия!—воскликнул Перепелица,—боже мой, как синюю птицу, ищу и не нахожу. Знал я одного трестовского экономиста. Шесть дней в неделю он проводил в тресте, работал, а в воскресенье выезжал на лодке далеко за город на рыбную ловлю. Там он жил по-настоящему. У него этих сетей, морд, режаков! Сам плел. О рыбной ловле, о рыбьих нравах и повадках мог часами говорить. Это был настоящий профессиональный рыбак. Профессия в современном обществе часто выбирается совершенно случайно, в силу сложившихся обстоятельств, а не по собственной воле. Я—юрист, но, честное слово, никогда не собирался им стать. Мечтал быть поэтом, родители хотели, чтобы я стал военным, по совету дяди-психиатра поступил в медицинский институт, а закончил юридический факультет. Жизнь иногда зло смеется над людьми..

Двигатель застучал с перебоями, Алексей обернулся, крикнул в прохладную темноту мельницы:

— Кириллка, мечтаешь! Отрегулируй подачу, мотор горючего просит.

— Пойду: дед, должно быть, заждался.—Перепелица встал.— Чудесный старик этот садовник, ах чудесный!.. Простите, если докучаю своими разговорами. Я так рад, что с вами познакомился. Очень, очень приятно.—Пожал руку и зашагал к саду, раскинувшемуся невдалеке по берегу реки. Алексей прозодил его глазами:

— Дожил же до нашего времени такой... кисель.

Перепелица скрылся за тополями, стоявшими двумя рядами вдоль сада, и у самой ограды встретился с дедом Маркелом.

— Гуляешь, душа-человек, а яблони как себе хотят?— сурово сказал старик.

У садовника — густые седые волосы, он их перевязывал на затылке цветной лентой. Ходил в длинной холщевой рубахе до колен, подпоясывался витым выцветшим шнуром — по-толстовски. И внешне напоминал великого старца; на людей смотрел из-под нависших бровей, судил всех строго, взыскательно. Сидя вечерами в шалаше, любил философствовать:

— В сочинениях графа Толстого,—говорил он, вздевая сверху седые брови,—все края человеческой жизни описаны. Про всякий случай там найдешь нужное место. Читали Льва Николаевича?—спрашивал он Перепелицу.— А яблони обвязывать не умеете, как же это?

— Про яблони Толстой не писал.

— Рассказывайте.

Перепелица помогал старику ухаживать за плодовыми деревьями, раскидывал в лунки навоз и перекапывал лопатой черную, слегка влажную землю.

— Скоро пчелок на волю выпустим. Вот у кого жизни поучиться надо.

Дед был вспыльчив, криклив, в гневе жесток и груб. Однажды, когда Перепелица неосторожно лопатой содрал кору у яблони, старик схватил валявшийся на траве кол, замахнулся, намереваясь ударить. Перепелица еле успел увернуться. И все же старик нравился Перепелице. Юрист терпеливо выслушивал изречения Маркела, охотно выполнял его приказы.

Попал Перепелица на работу в сад случайно: привез как-то для подкормки яблонь навоз. Разговорились. Перепелица рассказал о своем маленьком садике, разбитом около дома, о том, какие замечательные выращивал у себя в Молдавии яблоки.

— Ты вот что, душа-человек,—сказал старик,—определяйся-ка ко мне в должность. За лошадьми ходить найдут еще кого-нибудь, а мне помощник требуется.

— Ах, пожалуйста, Маркел Савельевич, я буду благодарен, садоводство такое благородное занятие.

Это польстило старику, и он выпросил Перепелицу у Червякова. Тот сначала было возражал:

— Излодырничается, так и будет спать под яблонями.

— А это что?—старик показал на посох, с которым никогда не расставался.

— Ладно, бери. Конюх из него все равно не выйдет.

Перепелица переселился в сад, устроился в крытом соломенной шалаше, спал рядом со стариком на камышевой подстилке. В шалаше приятно пахло увядшими травами и листьями. В саду было тихо, яблони начинали цвести, приделались в бело-розовые платья. Светило солнце, звонко щебетали птицы, которых

раньше Перепелица как-то и не замечал. Хотелось безмятежно жить, созерцать эту красоту, раскрывавшуюся во всем своем великолепии перед его глазами, и ни о чем не думать. Старик разгонял поэтическое настроение самыми будничными распоряжениями:

— Сушняк не разбрасывай, согребай в кучу! Мороз бы не ударил, всегда—как цвет, так и мороз.

Маркел заставлял юриста рубить дрова, учил готовить пищу.

„Все нужно испытать,—думал Перепелица, разделявая пойманную стариком рыбу,—и жизнь садовника и труд дровосека“

Приходя на мельницу к Алексею, рассказывал о чудачествах старика, посмеиваясь над его начитанностью.

— Вы, спрашивает, знаете французского сочинителя Гюго, именно Гюго. Потешный старик, в сад влюблен, как юноша в свою первую девушку. Это трогает. Он помнит биографию каждой яблони, когда ее зайцы объели, когда мороз убил цвет. Рядом с ним чувствуешь себя чище, ближе к природе.

— Вы, кажется, увлекаетесь этим делом?

Перепелица посмотрел в раздумьи на Алексея.

— Синяя птица, вы думаете?

Алексей слегка пожал плечами.

— Сердце должно вам это подсказать.

— Пожалуй,—задумчиво произнес Петр Петрович.—Я тоже начинаю любить сад.

Да, ему нравилось ухаживать за яблонями, срезать тонкой пилкой отсохшие ветви, замазывать глиной, смешанной с охрой, следы заячьих проказ—длинные, глубокие лопины в коре стволов. Будто не было этого прошедшего страшного года, разрыва с женой, бомбежек, эвакуации. И будто он снова в своем саду, около дома в Молдавии, только нет виноградника вдоль забора и нет душистых абрикосов... Когда по утрам Перепелица шел вдоль ряда яблонь, сердце у него замирало в сладостной истоме. С яблонь осыпался белый цвет, и вся земля вокруг как снегом покрылась. На аллеях между яблонями лежала сетчатая тень. И тишина, ах, какая тишина! Но особенно приятно было вечером, после работы, забраться в шалаш и, чувствуя усталость во всем теле, подолгу лежать на подстилке, вести тихую беседу с Маркелом, пока сон не сомкнет глаз.

Однажды ночью старик разбудил Перепелицу.

— Вставай, Петр Петрович! Кажется, мороз лезет.

Перепелица вышел вслед за садовником из шалаша. Было темно и тихо. Надломилась ветка, раздался треск—оглушительный, как выстрел. Легкий, еле уловимый шорох пробежал по саду.

— Какая тишина!—произнес Перепелица.

— То-то и оно,—старик повел носом, повернулся лицом к востоку,—чуешь, душа-человек?

Перепелица ничего не чуял, но поспешил согласиться.

— Да, действительно.

— Что же стоишь, растяпа! Живо! Говорил, раскладывая хворост кучками, так нет!

Дед засуетился, его волнение передалось и Перепелице. Они быстро растащили припасенный заранее сушняк, сложили кучами между яблонями.

— Зажигай.

Костры горели неярко. Густой белый дым медленно поднимался, укутывал яблони, они стояли, как в облаках. Маркел покрикивал, по-стариковски, вприпрыжку, размахивая руками, перебежал от костра к костру, поддерживал огонь. И его согбенная, освещенная пламенем фигура, и медленно поднимающийся густой дым, и перевитые дымом яблони, и треск горящего хвороста, а над всем этим, если поднять голову, усеянное звездами небо неизменное, таинственное — все это было красиво и необычно. Перепелица слегка ворошил палкой костры, не давая пламени погаснуть, подтаскивал хворост. Старик, задыхаясь от дыма, натужно кашлял, хрипел:

— Живо, экий ты, душа-человек, неповоротливый!

В шалаш они вернулись утром, когда уже взошло солнце. На траве, переливаясь цветами радуги, сияла роса. Яблони стояли точно умытые, нежные, молодые. Медленно кружась, падали на траву бело-розовые лепестки. На высоких тополях кричали грачи: дрались из-за гнезд. Перепелица шел следом за стариком и боялся расплескать благоговение; никогда прежде не видел он того, что увидел в эту ночь.

— Гляди, какая трава сизая, — говорил старик, сбивая ногами капли росы. — Мороз — самое страшное дело для яблонь. В одночасье цвет побьет и пропадай труды человеческие. Помню в девяносто шестом году...

Около шалаша старик развел костер, поставил на таган чайник. Сидя на обрубке, ломал сухие ветки, подбрасывал в огонь. Перепелица постелил плащ, прилег на траву. Его охватила блаженная истома, так бы лежал и лежал и, закрыв глаза, слушал неторопливую воркотню старика.

— Лексей Максимыч тоже был правильный писатель, — развивал любимую тему дед. — И скажи ты мне, Петр Петрович, почему это происходит, такой же он был человек, как и я, скажем, и всякой пакости навидался немало, а жизнь описывает, ну сказка — сказка! Видал я, как женщина рождает, ничего хорошего, а прочитал у Лексея Максимовича про это, даже обидно стало: почему же я не подметил того, что он увидел. Жизнь он любил и женщин любил, ох, любил, поэтому красиво у него все получалось.

Голос старика доносился откуда-то издалека и успокаивающе журчал. Перепелица испытывал ощущение плывущего человека — подхватили волны и несут, и тело стало невесомым, и тихо покачивается, и так приятно и легко-легко. И в самом деле он увидел реку, волны касались его лица и это доставляло удовольствие. Было приятно, хотелось по-мальчишески засмеяться.

— Жалко, нет его сейчас, он бы эту войну описал... Что на фронте, не слышал?.. Спишь, душа-человек?

Перепелица хотел ответить, но волны уносили все дальше и дальше и не было сил, да и не хотелось расставаться со сладостным ощущением от прикосновения волн.

„Теперь все равно, все равно“,—мысль почти не задевала сознания. Он спал.

* * *

В самое неурочное время, в поздний обед Евдокия принесла тетке Наталье на дом в дойницах молоко.

— Принимай.

Наталья, на что женщина смиренная, рассердилась.

— Смеешься что ли! Давно отвезла на сливной пункт и утренник и денник, а она явилась: принимай. Думаешь, у меня и дел, что с вашим молоком возиться. Ступай-ка, матушка, ужо вечером на стойбище приноси, не опаздывай.

Евдокия — на дыбы.

— Как это опаздывай! Только-только надоила и прямо сюда. Нет у тебя таких прав, чтобы не принимать от доярок молоко. Лишний раз сходила на пастбище, а ты...

— Скажи—не управилась, а то лишний раз...

Евдокия ругалась и божилась. Наталья отказалась принять молоко.

—Греха не оберешься с ним, ни замерить, ни записать. Ужо вечером приноси. „Может, половину отлила, потом отвечай“ — думала Наталья.

Так и ушла Евдокия с полными дойницами молока.

Тут и увидела ее Лизавета, жена бригадира Слепова. Видела, как пронесла Евдокия к себе в избу полные дойницы, а через четверть часа отправилась на ферму уже без них. Вот и смекай, что за молоко. Известно, колхозное, от своей коровы две дойницы не надоишь в один прием. А где это молоко? В погребе у Евдокии спрятано, значит, Евдокия... От этой мысли Лизавету в жар бросило. Срам-то какой, новость какая, разговору-то, шуму сколько будет! Если Червяков дознается, да он Евдокию на сухарь иссушит. А кто проведал! Она, Лизавета. Скорее платок на голову — и бегом к Катерине. Той, как на грех дома не оказалось. Лизавета — к Масловой. Та верит и не верит.

— Быть того не может. Языком почесать, поругаться—другой не найдешь такой, а молоко воровать в колхозе—это последнее дело. И куда ей—у самой корова, живет одна.

— Глотка, хайло! Что ни дай, все мало... Побегу к Анисье, заспеши та Лизавета,— дело-то какое, ох, страсть!

К вечеру полсела знало: Евдокия украла две дойницы молока. А вечером, когда сошлись на стойбище, и Катерина, возмущенная поступком доярки, готовилась к бою, Евдокия принесла дойницы, голосисто закричала:

— Так и заставила язва взад-вперед с молоком ходить. Теперь подумаю лишний раз доить... Порядки у тебя, заведующая, нет, чтобы человеку облегчение сделать...

Катерина опешила. Вот баба! Не с повинной, а с обвинением явилась, сама же налетает.

— Что это за молоко!

— Известно, дневной удой. С пастбища, экую даль перла в село, а эга фря,— метнула злой взгляд на Наталью,— зазналась больно, так и не приняла. Ну, скажи, вредная.

— Постой, постой, что-то не пойму. Разве днем молоко не сдавала?

— Это добавочный, четвертый удой.

— Одна доила?

— А то с кумом.

Доярки даже доить бросили, до того это было удивительно.

Евдокия хорохорилась:

— Плохо Евдокия сделала, да? Все равно поклону не дождешься, хоть прорубь башкой руби, все скажут—не так. Нынче постоишь у ворот скажут— по улице гуляла...

— О чем ты, к чему это все?—вступила в разговор Маслова.

— Будто не вижу, будто не знаю.

Евдокия сдала в тот день молока на шесть литров больше обычного.

— Решила меня обогнать?—спросила Маслова, сдержанно улыбаясь.

— Было бы для чего,—фыркнула Евдокия.—Я сама по себе живу, без вашего соревнования.

На следующий день повторилось то же самое, и на третий Маслова похвалила Евдокию:

— Не человек дела боится, а дело человека. Захотеть только надо.

А про себя думала: „обгоняет“.

Телятница Палага ходила в больницу, в район, вернулась рассказывала: в город поезд раненых привезли.

— Таскали, таскали из вагонов, страсть!

— Много бьют народу,—сказала горестно Катерина,—моего подлечили и опять на фронт.

— А мой Алеша,—пожаловалась Маслова,—так и зудит покоя не дает: поеду да поеду на фронт. Еще нога как следует не зажила, а он уже собирается.

— Это—от человека, совесть,значит, мучает.

— А какие раненые?—спросила Евдокия.

— Всякие, у кого рука, у кого голова перевязана. Один калмык или киргиз, в нутре, похоже, ранен, его на носилки кладут, а он матерится; плачет, а сам ругается.

— Больно.

— Вот кому наше молоко нужно,—произнесла Маслова,—раненому лишний литр молока дать—много значит.

Евдокия сидела рядом, громко сопела.

На следующий день Маслова из окна увидела: Евдокия, спустив ноги, ехала на длинных дрогах, сидя рядом с горяче-

возом Степкой. Позади них погромыхивали железные бочки и вздрагивал на кочках крепко привязанный бидон.

Маслова высунулась в окно:

— Куда собралась?

— На кудыкину гору журавлей щупать,— ответила с ухмылкой Евдокия.

Степка заржал во все горло:

— Щупать толстых.

— Дурак!— рассердилась Маслова и захлопнула окно.

„Куда могла отправиться? Конечно, на базар, молоко продавать... Любопытство одолело,— осуждала себя Анна Степановна,— получила по носу, так и надо, не лезь, куда не следует“.

И, вероятно, не скоро бы успокоилась Маслова, но под окнами появилось улыбающееся лицо Шурки-почтаря, раздался стук в окно:

— Письмо с родины.

Колюшка выбежал на улицу; вернулся, размахивая конвертом:

— От дедушки. А что дашь? Сахару кусочек дай, тогда получишь.

— Где взять, милушка...

Сошлись на сушеной дыне, если у тетки Натальи осталось от зимних запасов. Старик Маслов сообщал приятную новость: в городе начали восстанавливать ткацкую фабрику и если похлопотать, можно всю семью вытребовать обратно в город. „Видал вашего директора, Анна, и он мне так сказал: если хочешь, он вызовет тебя обратно на фабрику. Решай, Анна“.

— Чего тут решать,— возмутилась ткачиха,— дурень старый! Не вековать мне тут в степи. Он еще спрашивает! Бери бумагу, Ксаша, пиши ему: согласна, согласна, пускай скорее хлопчет нужные бумаги... Домой, понимаешь, Ксаша, домой к себе!

В припадке охватившей ее радости Маслова обняла сноху, прижала ее голову к себе. Ксаша уткнулась лицом в плечо свекрови и неожиданно всхлинула:

— О чем?

— Устала я, мамаша, устала от всего.

— Война измучила людей. И я не такая стала, и ты замаялась. Что делать! Кончится война, кто уцелеет, счастлив будет. После грозы всегда наступает хорошая погода. Заживем! Чтобы с тобой ни случилось, Ксаша, если и замуж выйдешь, ты мне родня, помни это: тебя Витенька любил, а это для меня самое близкое, самое больное.

В этот же день на родину было отправлено письмо: „Скорее хлопочи“.

Евдокия вернулась к вечеру с порожним бидоном. Тетка Наталья встретилась с ней, спросила:

— Задорого продала молоко?

— Даром отдала.

Наталья головой покачала.

А дня через три на имя Червякова пришло из района, из госпиталя письмо. Раненые бойцы писали:

„Спасибо большое, дорогие товарищи, за вашу ласку и заботу. Молоко вкусное, жирное, видно, ваши доярки хорошо ухаживают за коровами. Особенное наше почтение Евдокии Павловне Батиной“...

Червяков даже на стуле привскочил:

— Евдокия!

Запустил пятерню в волосы, растрепал прическу:

— Как это мы сами не догадались.

С письмом в руке отправился к Евдокии. Она на огороде картошку полола.

— А ну, озорная, иди сюда!— позвал он.— Ты это сама догадалась или надоумил кто?

— О чем говоришь?

— Будто и не знаешь. Раненым молоко отвозила?

Евдокия подозрительно смотрела на него, пытаясь разгадать: одобряет он или осуждает. И решила обороняться.

— От своей коровы, не бойся, не от колхозных.

— Я не про то. Если каждая хозяйка хотя бы по литру даст, да мы прибавим, что надоим сверх плана, соображаешь, какое озеро молока наберется! Сколько раненых можно подкормить! Сама придумала, говорю, или подсказал кто?

— Ну, сама.

— И как это ты...

— Диво! Привыкли поносить: Евдокия—поганка, Евдокия—дура. Хлеба не взял тогда от меня, не надо, мол. Думаешь, мне это не обидно, точно в поле обсевок.

— Так, так,— произнес Червяков,— значит, совестно стало, стыдно стало.

— Пошел ты к бесу со своею совестью,—возмутилась Евдокия.— Не погляжу, что ты председатель, возьму дрючок, да огрею по спине. Совесть! Что я украли или обманула! Чего мне стыдиться. Захотела, понесла молока, не захочу, хоть молись на меня—не дам. И ты мне не указчик!

Словом, так отчитала, Червяков еле калитку разыскал. Вышел на улицу, как из бани, руками развел.

— Не дай боже жабе хвоста, кочетом закричит. Чорт, а не баба. Ты ее хвалить, она ругаться. Подойди к такой с агит-массовой работой.

Маслова услышала, по-своему рассудила:

— Я же говорю, Евдокию обозлить надо. У каждого человека жила становая, найди ее и вей веревки.

VII

На дворе шумно играли дети. Колюшка, шустрый, востроглазый мальчуган хлопнул Валю по плечу, отбежал на середину двора.

— Догоняй!

Валя бросилась за ним, мальчик крупными прыжками отскочил к сараю, Валя — к нему, он, легко неся свое тело, согнувшись, метнулся к воротам. Он был неуловим. Скаля белые зубы, дразнил:

— А вот не поймаешь, не поймаешь.

Валя совсем было догнала, протянула руки, пытаясь схватить его за рубаху, он увернулся, быстро присел, она, не рассчитав движение, сразбегу налетела на забор, ушибла ногу. Всклипнула и медленно прошла к крыльцу, села на ступеньки. Лицо у нее было бледно, прядь волос у виска слиплась от пота. Колюшка присмирел.

— Давай по-другому играть.

— Не хочу.

— Эх, ты, плакса.

— А я бабушке скажу.

— Говори.

Колюшка запрыгал на одной ноге, озорно засвистел.

Валя равнодушно следила за ним.

— Давай в чижика играть, — предложил он через минуту.

— Не хочу.

— Давай поиграем, — не унимался он.

— Не буду, не буду! — закричала Валя яростно и затопала ногами.

Эту сцену и застала Маслова, вернувшись со стойбища.

— Коля, опять, — сердито сказала она, уверенная, что мальчик обидел Валю.

— Она сама, — оправдывался Колюшка.

— Возьму палку, да палкой... Зачем девочку дразнишь? Не плачь, Валюшка, ступай побегай.

— Я устала.

— Устала? — Маслова пристально посмотрела на Валю. Рядом с раскрасневшимся от бега подвижным озорником Колюшкой Валя выглядела хилой и болезненной: уши прозрачные, под глазами темные круги, в глазах всегда пугающая Анну Степановну недетская серьезность.

Анна Степановна присела рядом, обняла Валю.

— Что с тобой, родная?

Валя подняла на Маслову свои большие черные глаза:

— Ничего... Папа опять скоро приедет?

— Как немцев побьет, так и приедет.

— Напиши ему, пускай скорее бьет.

— Хорошо, милая.

Лучше бы, кажется, и не приезжал капитан, только растрожил девочку. Жила она зиму в семье, как свой, родной ребенок и уже свыклась с мыслью, что ни мамы, ни папы больше не увидит и что Маслова — и мать ей теперь и бабушка. Валя называла Анну Степановну то мамой, то бабушкой, по-детски ласкалась к ней, искала и находила у нее защиту от проказ мальчишек. Больше всех озорничал Колюшка. Он сломал куклу, испачкал сажей светлое праздничное платьице, перешитое из блузки. Маслова не на шутку сердилась:

— Одна у тебя сестренка и ту обижаешь. Не стыдно?

— А почему она не играет с нами!

— Она хворает. Лето придет, будем ходить в луга, поигра-
вится.

Внезапный приезд отца потряс душу ребенка. Нашелся отец,
о котором все говорили, как о погибшем, может найтись и мать.
На второй день его пребывания Валя неожиданно спросила
у него.

— Почему маму не привез?

У капитана потемнело лицо, он глухо ответил:

— Мамы мы больше не увидим. Ведь ты сама мне расска-
зывала.

Валя отвела глаза, затихла. О матери она больше не упо-
минала, но Маслоба догадывалась — девочка в большом недо-
умении: почему мать не может приехать, если приехал отец.
После его отъезда Валя впадала временами в задумчивость, и
это беспокоило Маслову.

— Ровно старушка, сядет в уголочек и думает о чем-то, —
сокрушалась ткачиха, — дитя, оно и должно быть дитя, — и пере-
водила взгляд на резвившихся ребят: шалуны, пусть шалют, их
пора такая.

Однажды ночью, проснувшись, Анна Степановна услышала
тихие всхлипы. Подняла с подушки голову, прислушалась: пла-
кала Валя. Ступая босыми ногами по глиняному полу, Маслова
подошла к постели девочки. Валя лежала вниз лицом.

— Валюша, о чем?

Валя еще глубже зарылась лицом в подушку и, уже не
сдерживаясь, зарыдала. Рыдания перешли в судорожный с захле-
бом кашель. Худенькое тельце ребенка содрогалось. Маслова
взяла Валю на руки, прижала к себе, гладила по голове:

— Ну, что ты, Валюша, что ты, успокойся.

Девочка постепенно успокоилась, затихла.

— Скажи, о чем плакала?

— Больше не буду.

— Расстроилась, сон дурной видела?

Валя спрятала лицо на груди у Масловой, еле слышно
спросила:

— Папа скоро приедет?

Даже обидно стало ткачихе, она сердито сказала:

— Думала нивесть что, а ты о своем. Спать надо, только
бабушку тревожишь.

Уложила в постель, укрыла одеялом.

— Спи, сказку расскажу... В некотором царстве, в некоем
государстве...

„Зачем приезжал. Растревожил и оставил. Теперь девочка
покоя не даст“.

От капитана Несветова письма приходили довольно часто.
О себе сообщал лаконично: живет в деревне, в нескольких кило-
метрах от переднего края. Про Валю расспрашивал подробно:
что делает, что кушает, как себя чувствует.

„Про вас, Анна Степановна, знает все мое подразделение.

Бойцы и командиры кланяются, желают здоровья и сил. Берегите Валушку, в долгу не останусь“.

— Этого мог бы и не писать, — Маслова хмурилась, испытывая неприязнь к Несветову, предьявившему права отца. Но на каждое письмо его аккуратно отвечала. Пренебрегая знаками препинания, выводила кривые, ползущие книзу строки:

„Про Валю напрасно беспокоитесь, живет она как в родной семье и никто ее не обижает, что все ребята то и она кушает“.

Подумав, добавляла:

„Бегает по двору с детишками здорова“.

Было начало мая. Ветлы у реки украсились длинными, как пальцы, листьями. По обрыву зацвел терновник. За рекой в степи заалели тюльпаны — таблак. Воздух стоял прозрачный, душистый.

И в эту цветущую, веселую пору Валя простудилась. Когда и где — никто сказать не мог: то ли ночью в постели раскрылась и ее продуло, то ли, побегав с ребятами по двору, села на холодное крыльцо да и простыла разгоряченная. Вернулась Маслова со стойбища, Ксаша сообщила:

— Валя заболела.

— Что с ней?

— Кашляет, жар.

Валя лежала на постели. Лицо ее пылало. Глаза лихорадочно блестели. Дышала тяжело, с протяжным свистом.

— Что с тобой, капелька моя?

Валя посмотрела на Анну Степановну своим недетским отчужденным взглядом, закрыла глаза, отвернулась. Маслова опустилась на стул у постели, крепко сжала руки. Она и сама не могла объяснить — почему так полюбила этого чужого присталого ребенка. Покоряла робкая, застенчивая привязанность и затаенная грусть? Или трогала трагическая судьба? Или в короткой биографии этой девочки видела старая ткачиха повторение своего нерадостного далекого детства, вспоминала побои и попреки мачехи и старалась уберечь Валю от такого же горького сиротства. Маслова сидела у постели девочки, тяжелое раздумье овладело ею. Не слишком ли большую ответственность взяла она на себя, приняв в семью чужого ребенка. Когда Несветов находился в безвестии, за всякую беду с Валею ответ она держала бы только перед своею совестью, а теперь случись лихо — отец вправе спросить строго: что, старая, не доглядела, не уберегла?

Всю ночь она провела в тревоге, просыпалась, прислушивалась к свистящему, прерывистому дыханию больной. Уходя утром на работу, сказала Ксаше:

— Снеси в больницу, пусть посмотрят.

В больнице Вале поставили на грудь и спину банки и врач, уже немолодая женщина с уставшим лицом, сказала Ксаше;

— Берегите девочку: воспаление легких в ее возрасте опасно. Маслова вернулась с работы к обеду. По встревоженному

лицу Ксаши догадалась—дело худо, но, все же, скрывая тревогу, спросила:

— Плохо?

— Только пьет и пьет, ни молока, ни супа не ела.

Маслова нагнулась над изголовьем, сердце заняло от жалости: как изменилась бедняжка! Маленькое худенькое тельце ребенка вдавилось в постель, выпирали острые плечики, лицо осунулось, неестественно пунцовы были губы.

— Что болит, Валюша?

Валя с трудом повела головой и еле слышно простонала.

— Голова болит,—догадалась Маслова.

Валя закрыла глаза и лежала неподвижно. Длинная тень падала от ресниц на щеки, и это особенно напугало Маслову:

„Не умерла бы“...

Остаток дня и ночь прошли тревожно. Валя металась, вскрикивала, плакала. Желая облегчить страдания больной и не зная, как помочь, Маслова брала девочку на руки, прижимала к себе, ходила по избе, укачивая. В избе все спали, в окна заглядывала раздражающая луна, по полу от окна к двери протянулась широкая, как ручей, светлая полоса. Маслова ходила взад-вперед, облитая этим лунным светом, ручей протекал у нее под ногами, и ей казалось — она бесконечно будет ходить от окна к двери, держа на руках чужого ребенка, ставшего дороже, ближе и милее родных внуков. Лучше бы ей, старой, заболеть, она уже пожила, повидала и горе и радость. Тяжело смотреть на больного ребенка: хочешь помочь и не знаешь чем.

К утру Валя впала в забытие, никого не узнавала. Маслова сама сходила на квартиру к врачу, упросила зайти.

— Девочка, кажется, вам не родная?—спросила врач, укладывая в сумочку трубку.

— Это ничего не значит, мы ее все любим... Скажите, плохо?

Врач слегка повела плечами.

— Положение очень серьезное, я должна предупредить, надо ко всему приготовиться. Но бывает, организм упорствует и побеждает недуг. У вас горчица найдется? Сделайте горчичную ванну, попробуйте.—Посмотрела на Валу, добавила: — слабенький ребенок.

Ушла, оставив Маслову в тревоге и смятении.

После горчичной ванны Валя успокоилась, затихла. Только по еле приметному дыханию и вздрагиванию ресниц можно было догадаться, что в этом худеньком тельце теплится жизнь.

Анна Степановна отправила ребят поиграть на улице, Ксашу послала к Катерине предупредить, что на работу не выйдет. Закрыла ставни, в избе стало прохладно, сумрачно. Села, скрестила руки на груди и так сидела молча у постели больной, думая свои невеселые думы.

Раскидала, разметала война рабочую семью. Погиб Витенька, славный, добрый сын. Три других, как витязи на распутьи, разъехались в разные края обширного фронта, и каждого стерегла своя судьба. Самый старший, Александр, бился с немцами под Ленинградом — месяца три уже ничего не писал; от сред-

него, Владимира, письмо еще зимой пришло, от Сергея—с осени—ни слуху, ни известий. Где они, что с ними? Кто старухе-матери поведает? Может, так же, как и Виктор, похоронены в дальней стороне, и не разыщет мать их могильных холмов.. Думала с горечью старая ткачиха: что же осталось от ее большой и дружной семьи! Полубольной Алексей, который собирается опять на фронт, два внучонка - несмышленишка, муж-старик в родном далеком городе и доченька, милая резвушка, утеха, ласка—Сашенька. Да и та теперь замуж вышла—ломоть отрезанный. Проводила Сашенька Максима на войну, закручинилась, запечалилась, к матери редко заглядывает, в степи живет, говорит—за работой не так тоскливо. Бог с ней! Радостью, светом ясным, заменой Сашеньки была эта тихая, кроткая девочка. И вот на глазах угасает. Маслова свела брови. Нет, эту девочку не отдаст смерти. Она сделает все, чтобы спасти ее.

Сколько раз за свою долгую жизнь сидела старая ткачиха вот так у изголовья больных своих ребят! В детстве заболели скарлатиной сразу оба старших сына Александр и Алексей. Две недели пробыла она с ними в больнице, две страшных недели почти глаз не смыкала. Выходила. Витенька болел дифтеритом. Он задыхался уже, когда она на руках внесла его в приемный покой, а оттуда—прямо на операционный стол. Поила и кормила его в течение месяца с ложечки. Отстояла! Долго болела воспалением среднего уха Сашенька. Много и она причинила забот. Трудно росли дети. Но никогда, кажется, не тревожилась Анна Степановна, как сейчас, во время болезни этого чужого ребенка. Вспомнились слова Несветова, сказанные на прощанье:

„Вас судьба послала Вале. Лучшей матери ей и не сыскать“.

Анна Степановна подавила вздох:

„Что отцу скажу, как в глаза ему взгляну, если не уберегу“.

Перебирала в памяти все испытанные средства лечения; ставила банки и горчичники, поила на ночь горячим молоком, смешанным с растопленным маслом. Мочалова посоветовала кормить сахаром или медом.

— Сердцу полегчает.

За большие деньги Анна Степановна купила несколько кусков сахара, растворила в воде и с благоговением поила больную.

В эти тревожные дни от Несветова пришло письмо. Как обычно, оно было проникнуто трогательной и нежной заботой о Вале.

„Напишите подробно, что она делает, как себя чувствует, как питается. В чем нужда у вас? Пишите, не стесняйтесь. Высылаю деньги, купите Валюшке платице“.

Прочтя это место, Маслова нахмурилась:

— Выдумал.

Вечером, когда все улеглись и в избе наступила тишина, Анна Степановна достала из ящика стола лист бумаги, очинила карандаш, села за стол. Глубокая складка прорезала ее лоб.

„Что писать, как писать?—Растревозишь только, горе причинишь, а ему воевать надо. Пусть уж пока ничего не знает“.

Склонилась над столом, начала выводить прыгающие строки:

„Про Валею не беспокойтесь: жива-здоровая, нынче ходила со мной на пастбище, смотрела, как коров доят там и молочка попила вволю“.

Оторвалась от письма, долго, не мигая смотрела на огонь лампы. Вздохнув, продолжала:

„Насчет платья уже сама надумала: напрасно деньги высылаете, мы не бедные, сами зарабатываем“.

В избе было тихо, горела тускло лампа, освещая склоненную над столом седеющую голову ткачихи. Маслова прислушалась к прерывистому дыханию больной, закрыла глаза и сидела долго-долго, думая о прожитой жизни, о том, что как-то незаметно подкралась старость, и нет уже прежней живости и бодрости, что хорошо бы опять вернуться домой, к привычному житью, в родной угол.

„Гусиного сала надо достать да скипидару“,—мысли вернулись опять к сегодняшней заботе — к Вале.

На девятый или десятый день болезни Вале было особенно худо. Она впала в забытие, никого не узнавала, металась на постели, бредила. Маслова склонялась над изголовьем, взглядывалась в изменившееся лицо ребенка. Валя перекатывала по подушке голову, временами глухо стонала. Анна Степановна приподнимала ее за плечики, подносила к пунцовым губам сладкое питье в стакане. Губы не шевелились, рот не открывался. Маслова силой разжимала Вале зубы и ложечкой выливали питье.

К вечеру Вале стало совсем плохо. Она лежала неподвижно с закрытыми глазами и тяжело дышала. Втянет в себя воздух и тут же со свистом выдохнет. И лежит бездыханная, как мертвец. Маслова холодела: неужели конец? И снова с огромным усилием, будто в гору поднималась, вбирала Валя ртом воздух, и снова, точно из проколотой шины, со свистом вырывался он из груди. Как трудно давался каждый вздох! С какой жадностью ребенок ловил ртом воздух, чтобы сразу же выпустить его. И каждый раз с замиранием сердца Маслова ждала: вот-вот не осилит Валя подъема в гору и лунцовый ее рот не сделает очередного глотка.

Наступила тревожная ночь—которая!—Маслова и счет потеряла. В избе было тихо. Ребята с Аграфеной перебрались во двор, в мазанку, Ксаша спала за перегородкой. Все отдыхали. Бодрствовала только старая ткачиха. На душе у нее было сумрачно и тревожно. Она то склонялась над изголовьем больной, вливая в рот питье, то принималась ходить и ходила от окон к двери, сжимая до боли в суставах пальцы, сиюсь побороть дремоту.

Под утро присела к столу, положила голову на руки и уснула. И вдруг—точно в бок толкнули, очнулась, вскинула голову. Брезжил рассвет, на деревне перекликались петухи, в подполе скреблась мышь. Пугаясь тишины, Маслова быстро встала,

подошла к постели. Валя смотрела внимательно широко раскрытыми глазами. Это было так неожиданно, что Анна Степановна охнула:

— Валюшка, милая!

Девочка тихо, но внятно сказала:

— Кушать хочу.

Анна Степановна растерянно засуетилась. Что дать? Как нарочно, ни щей от ужина не осталось, ни каши. Да и какая каша больной. И куда это Ксаша молоко спрятала? Ах, да, в погреб.

Когда, спустя несколько минут, Маслова, сделав молочную тюрю, вернулась к постели, Валя лежала попрежнему неподвижно, повернув в сторону голову. Ее глаза были плотно закрыты. На похудевшие щеки падала тень от ресниц. Блюдец задрожало в руке Масловой. Она низко нагнулась, прислушалась: Валя дышала тихо и спокойно. Анна Степановна почувствовала внезапно страшную слабость, опустилась на стул, не замечая, как из блюда на юбку лилось молоко.

Открылась дверь, вошла Аграфена.

— Тс!—предупреждающе подняла палец Маслова.

Аграфена на цыпочках подошла к постели.

— Кушать попросила,—шопотом сообщила Маслова.

Аграфена радостно закивала головой.—Теперь на поправку пойдет.

Анна Степановна отвернулась. Две скупые слезинки медленно катились по ее щекам.

VIII

Отшумели весенние дожди, улеглись буйные степные ветры. Отцвели яблони в саду, ветви покрылись завязью плодов. Знойно гудели пчелы. В степи духовито пахла полынь. Поля покрылись зеленым шелком яровых. Рожь уже начинала колоситься, стояла—по грудь человека и при легком дуновении ветра шумела и кланялась, и колыхалась, и ходила волнами—так бы глядел, глаз не отводил.

Колхоз отсеялся, с поля давно вернулись полевые бригады, на стану остались только трактористки: допахивали пары.

Проводив Максима, Сашенька запечалилась. В ее ли пору кручиниться, ей ли, сероглазой резвушка, тревожиться. Подружки-трактористки возню поднимут, друг дружку примутся щекотать—крику-то, смеху! И Сашенька порой расшалится, да вспомнит про Максима—и в сторону от подружек, сядет в уголок в будке, сидит, молчит. Девушки песню затянут:

Где кусточки, там листочки,

Где канавка, там вода.

На словах тебя забуду,

А на деле—никогда.

Сашенька—в слезы: будто про нее с Максимом песня.

На фронт посылала ему длинные письма, подробно описывала свою жизнь и работу, все мелкие происшествия, все, что происходило на стану—Максим сам просил об этом. Сообщала: бригада одной из первых по МТС закончила весенний сев. Правда, не уложились в срок, как требовалось по плану и договору соревнования, а все же поработали не плохо, и бригада получила почетную грамоту.

„Приезжал на стан секретарь райкома и директор МТС, похвалили нас. Смородина совсем стусеивалась, грамоту взяла, а сказать ничего и не может, даже стыдно стало. Я за нее выступила и сказала, что мы будем дальше еще лучше работать. Про тебя помянула, чуть не заплакала, обидно, что тебя не было среди нас“.

В ответ от Максима получала короткие и по-деловому сухие письма: жив, здоров, получил боевую машину, экипаж подобрался один к одному, дружный, крепкий народ: водитель—московский слесарь, башенный стрелок—рязанский колхозник, радист—ростовчанин, с электростанции. С таким народом воевать можно“.

Приходя изредка домой, Сашенька жаловалась матери:

— Пишет, ровно командиру доносит, а не жене. Как живет, что делает, мне ведь все интересно.

— Напишет лишнее, себя подведет. Жив-здоров, ну и радуйся, чего еще надо, а подробности после войны узнаешь.

— Лишь бы только жив остался. Я на все согласна, всякого приму, без рук, без ног, лишь бы только живой.

В одном из писем условленной фразой Максим дал понять, что готовится к походу и скоро со своей частью вступит в бой. И вдруг письма прекратились. Две недели, три недели — ни весточки. Встревоженная, не желая на людях выказать слабость, Сашенька уходила от стана, далеко в степь садилась на бугорок и, обхватив руками колени, бесцельно подолгу смотрела вдаль.

„Где-то он, что с ним“?

Вспомнила ссору ночью у трактора, и запоздавшее раскаяние встревожило душу. Ах, если бы все снова повторить, разве она бы поступила так, как поступила тогда. Она мысленно беседовала с Максимом, рассказывала, как научилась работать, какой стала примерной трактористкой.

„Трактор теперь знаю хорошо, Максимушка, можешь у Смородиной спросить, ни одной аварии не допустила. Посмотрел бы, как стараются наши девушки“.

Тут, в степи, и нашла ее однажды Ксаша; принесла из дома кринку молока и лепешек.

— Еле разыскала, куда забралась.

— Грустно мне, Ксаша, точно кусочек сердца огорвал и увез с собой Максим. Девушки дурят, песни поют, а мне реветь охота. Уговорились: пойдет в бой, про работу вспомнит. В последний раз писал — скоро, мол, сенокос начинается, ты, Сашенька, не подведись. В наступление пошли, ясно. И с тех пор—ни одного письма. Отчаянный такой, разве уцелел. При

расставании просила беречься, он как закричит на меня: трусом не буду!

— Сиротки мы с тобой. Помнишь, зимой приезжала я к вам в гости, посмотрела на вашу жизнь с Максимом, позавидовала. „Вот, думаю, счастливица, ни беды, ни горя не знает“. А счастье с горем на одном полозу едут. Прости меня за те думы. Человек завистлив, когда его беда коснется.

— А я знаешь что,—Сашенька подбирала слова,—нет, я бы не завидовала чужому счастью. Нам его так мало дано, так редко видеть приходится. Я бы радовалась счастьем других... Что мать делает?

— То же, что и раньше. Домой собирается, детишкам белье чинит. Камыш режут у пруда, хотят ферму крыть... Валюшка поправляется, бегают уже. Мать на нее теперь, после болезни, не надышется. Вчера в детский сад отвела. С Алексеем из-за этого поругалась, не хотела в детский сад посылать, а Алексей говорит—вы портите девочку своими заботами, она поэтому и хилая.

— Алексей все на мельнице?

— Нет, уже молотилку для колхоза ремонтирует. Написал в военкомат, на фронт просится, а Червяков уговаривает остаться, хочет его механиком устроить.

— А у тебя как дела?

— Занятия в школе кончились, каникулы, какая моя жизнь! Домовничаю, тоскую...

Ксаша опустила голову. Сашенька обняла ее за плечи, пригнула к себе, так и сидели в степи, тесно прижавшись, одинокие, тоскующие молодые женщины.

В самый сенокос от Максима пришло письмо. Очень удивило оно Сашеньку. Писал не сам он, а по его просьбе, какая-то медицинская сестра Клаша и тон письма необычный, ласковый, душевный. Что-то скрывал Максим, о чем-то не договаривал, к чему-то готовил.

„Сашенька, я ранен, лежу в госпитале. За мной заботливо ухаживают и это облегчает мое положение. Ты должна знать, Сашенька, что, видимо, я на всю жизнь останусь с большим физическим недостатком. Не плачь, не горюй, Сашок, ты ничем мне не поможешь, только себя замучаешь. Что делать—судьба такая. И себя не принуждай, спроси свое сердце, совесть свою спроси, как они тебе скажут, так и поступай. Не сговоримся, пойдем дальше каждый своей дорогой, и я в обиде на тебя не буду. Доктор говорит, медицина иногда делает чудеса, но я чувствую, доктор ошибается, меня он не обманет, и я не хочу обманывать тебя“.

В конце письма Максим робко просил навестить его: лежал он в госпитале в областном приволжском городе.

Неясные намеки на разную судьбу и то, что писал не сам, испугало Сашеньку. Она только что вернулась с поля, с ночной смены. От бессонной ночи резало глаза, слегка болела голова. Надо бы лечь, отдохнуть, а она, даже не позавтракав, сбросила комбинезон, торопливо умылась и отправилась

в село. Шла быстро по наезженной степной дороге, не замечая ни ярко светившего солнца, ни пестрого разнотравья, растущего в степи, не слыша пения птиц. Она была в смятении и тревоге.

„Если без руки или без ноги, ну написал бы, глупый, разве я его брошу... Что такое с ним случилось? Посоветуюсь с матерью, она рассудит, скажет, что делать“.

Вновь, как и в полузабытые детские годы, когда ее обижали в забавах на дворе и она, со слезами на глазах, прибежала к матери, ища у нее утешение, так и сейчас надеялась Сашенька найти у матери успокоение и совет.

Анны Степановны дома не оказалось.

— За речку ушла с доярками, — сообщила Ксаша, — траву косит.

— И она косит?

— Помогает... От Максима письмо получила! Ранен? Ну, вот видишь, все обошлось благополучно.

— Ах, не знаю, ничего не знаю, — с несвойственной раздражительностью сказала Сашенька.

* * *

Первой рукой шла Катерина. Подавшись вперед всем туловищем, широко расставив ноги, она сильным взмахом, по мужски закидывала в сторону косу и, быстро наклоняясь, опускала вниз. Ровным срезом ложилась у ее ног подкошенная трава. Следом за Катериной двигалась телятница Палага, потом еще несколько женщин, которых издали Сашенька не узнала. Мать она увидела среди согребальщиц. Валушки лежали ровными рядами, и луг походил на военный бивуак, какой Сашенька видела однажды в детстве у себя за городом.

Катерина дошла до края загона, вскинула на плечо косу, сняла с пояска смолянку, начала точить. Коса зазвенела, ее зеркальная гладь ослепительно блестела на солнце, издали казалось, с плеча Катерины стекает отливающая струя воды. И эта мирная сельская картина, и теплое солнце, и запах сена, все такое обычное, будничное, далекое от того, что делалось на фронте и чем было проникнуто письмо Максима, все это подействовало успокаивающе на Сашеньку. Она, забыв про письмо Максима, забыв свою тревогу и душевное смятение, расставила руки крыльями и побежала с холма вниз в ложину, где косили женщины.

— Мама, мамочка!

Маслова прекратила согребание, защитила ладонью глаза от солнца, на ее загорелом, потемневшем лице появилась улыбка:

— Прилетела, стрекоза, а ну, бери грабли, помогай.

— Мамочка, золотая!

Сашенька подбежала, порывисто обняла мать, выхватила из ее рук грабли — и вот опять прежняя Сашенька, какой ее все знали. Она ловко, быстро согребала траву, без умолку болтала:

— У вас весело, все вместе, а у нас уедешь на тракторе километра за два от стана, степь—и ты одна. Как в море на лодке. Скучно!

— День поклоняешься и здесь покажется невесело,—сказала работавшая рядом Ольга.

— Нет, тут лучше, я бы согласилась поменяться, у граблей ни свеча не лопнет, ни подшипник не расплавится, согреть, пой песни. Зачем такую траву косите, один бурьян. В степи лучше.

— На силос, доченька, зимой коровы спасибо скажут.

— Ой, зима! — Сашенька тряхнула головой — как вспомнишь, сердце ёкает.

— Не нравится наша зима? — спросила Ольга.

— Бураны страшные, холодно.

Маслова любовно смотрела на Сашеньку: хорошая выросла доченька. Такой резвущкой и она была когда-то.

Дошли до края загона. Сашенька первая упала на валушку душистого сена, раскинула руки, подставляя лицо солнцу.

— Устала, я ведь не спала ночь, пахала, а потом...

И сразу вспомнила, резко поднялась; лицо ее приняло испуганное, страдальческое выражение.

— Мамочка, что случилось... Максим письмо прислал.

— Радоваться нужно, а ты будто недовольна.

— Ах, не знаю, мама, ничего не знаю, оно такое странное.

Подошла Катерина, за нею остальные косарки. Катерина села рядом с Сашенькой.

— Что же он пишет?

— Не пойму, ничего не пойму. Ранен он, в госпитале лежит.

— Ну, читай, разберем.

Сашенька достала письмо, начала читать его вслух. Вокруг присели доярки, внимательно слушали.

— Н-да, нехорошее письмо, — раздумчиво произнесла Анна Степановна, когда Сашенька кончила чтение, — не поймешь, о чем говорит.

— И не сам пишет, а сестра, — заметила Катерина.

— Это плохо? — спросила Сашенька.

— Чего хорошего, значит, самому невмоготу. Мой, когда был ранен в грудь, тоже не сам писал, сестру всегда просил.

— А, может, Максим без руки.

— Или ослеп?

Сашенька в ужасе закрыла лицо руками.

— Ой, что вы!

Она готовилась к самому худшему: увидеть Максима одноруким, безногим, хилым, болезненным, она еще больше бы его любила, как бы за ним ухаживала! Но слепым не представляла. Эта мысль не приходила на ум.

„Без глаз! Не надо, не надо, — шептала она, — без глаз человек — хуже малого дитяти, хуже старика. Что мне тогда с ним делать?“

А воображение уже нарисовало такую картину: Максим

бредет по улице, высоко поднял безглазое лицо. Боясь попасть в яму или стукнуться об изгородь, он осторожно постукивает впереди себя посошком. На него злобно лает лохматый пес, Максим не может отогнать. Для него всегда будет ночь. Он и ее больше не увидит. Будут дети, он и детей своих не увидит. Сашенька невольно содрогнулась.

„Неужели судьба меня так обидит?“

В обсуждении письма приняли участие доярки.

— К себе зовет, значит, требуется, чтобы рядом близкий человек находился.

— В чужом доме и жалач не сладок. Как там ни привечают, а жена больше всех пожалеет. Она все повадки знает.

— Куда иголка, туда и нитка.

— Какой ни есть, кривой, безногий, а муж.

— Ехать надо.

— Поезжай, Сашенька, — подтвердила и мать, — просит, значит, дело имеет. Там все и узнаешь.

Сашенька отняла руки от лица, сидела притихшая, опечаленная. Ей очень хотелось поскорее увидеть Максима, снова ощутить на своей руке тепло его широких ладоней, потрепать черные лохматые вихры, как любила делать, услышать его голос, его смех, и вместе с тем она боялась приблизить то неведомое, пугающее, что скрывалось за недомолвками письма.

— Конечно, поеду, — сказала тихо, — там все узнаю.

Катерина поднялась.

— Хватит, пошабашили, солнышко вон уже где, идем, бабоньки, закончим прокос.

Встали и остальные.

— Ступай, доченька, собирайся, — Маслова вскинула на плечо грабли, — закончим прокос, и я подойду. Дни пригожие стоят, охота во-время убраться.

* * *

Прямо с вокзала, держа в руке деревянный баульчик, Сашенька отправилась по указанному Максимом адресу в госпиталь. Он находился на противоположном конце города, у Волги, и Сашеньке пришлось долго идти по широким прямым улицам.

Она очень устала, когда, наконец, добралась до места. Огромное четырехэтажное здание госпиталя выходило высокими окнами на Волгу. Несколько каменных ступеней вели на просторную террасу с цементным полом, окаймленную вычурной баллюстрадой с серыми каменными балясинами. Сашенька поднялась на террасу, открыла входную стеклянную дверь, вступила в прохладный, полутемный вестибюль. Здесь, в этом большом красивом здании, живет ее Максим. Сейчас она его увидит, все станет ясно и понятно и разрядится та тревога, которую она испытывала все эти дни. В вестибюле было тихо, пахло карболкой и еще какими-то лекарствами. Прямо против входной двери широкая каменная лестница вела наверх. По ней, опираясь на костыли, осторожно, опасаясь упасть, спускался молодой человек в синем больничном халате. Правая

нога у него была отнята выше колена и безобразный обрубок болтался при каждом движении. Это было первое, что увидела Сашенька, и ужаснулась. Раненый перехватил ее взгляд, еле приметная грустная улыбка тронула его губы. Он спустился вниз и, тяжело ступая на здоровую ногу, опираясь на костыли, скрылся в дверях.

Неслышно подошла привратница в сером халате и мягких войлочных шлепанцах на ногах.

— Вы к кому?

Сашенька объяснила.

— Нынче приема нет, с трех до пяти по четвергам и воскресеньям.

Сашенька этого не ожидала. Она полагала, что своего Максима всегда может увидеть, стоит только добраться до госпиталя и сказать, что она его жена. Сашенька стояла растерянная, держа в руках свой дорожный деревянный баул.

— Что же мне делать, — говорила она смущенно. — Я прямо с вокзала, у меня в городе никого знакомых, жить до воскресенья — негде.

Привратница укоризненно покачала головой:

— Думать надо было раньше. В город ехала, не в деревню. Куда теперь денешься?

— Мне бы только на Максима взглянуть, как он и что, и я обратно бы на вокзал, на поезд. Жить мне в городе никак нельзя, там, на стану трактор остался.

Привратницу тронула эта наивная простота.

— Вот что значит неопытность. Деревенщина! Куда ж тебя девать такую?

— Некуда мне итти, — призналась Сашенька. — А я вот тут сяду на ступеньки лестницы, буду сидеть тихо, никому не помешаю. Можно, а? В бауле калач, варенье яйца, еще кое-что. Носовые платки для Максима и банка с медом. Передам платки и мед, посмотрю на Максима и все, больше мне ничего не нужно. А потом на вокзал.

Привратница усмехнулась:

— На ступеньках не позволено сидеть. Это тебе не церква... Обожди здесь, может что и устрою.

Сашенька осталась в вестибюле, терпеливо ожидала. По лестнице поднимались и сходили раненые с забинтованными руками, безногие, с перевязанными головами, у одного все лицо закрыто, только оставлены глаза, да щелочки у губ, у другого широким белым жгутом опоясана грудь. Смотрела Сашенька на это шествие калек, больных, немощных молодых людей, подойти бы к ним, расспросить — не больно ли, не может ли она чем-либо помочь, но не решалась, а больше всего боялась — вдруг один из этих покалеченных людей окажется ее Максимом. Возьмет за руку, скажет:

— Не узнала, сероглазая?

Она желала его видеть, ждала минуты свидания и в то же время испытывала внутреннюю дрожь и хотелось, чтобы эта минута наступила возможно позже.

Вернулась привратница с белым халатом на руке.

— Дежурный врач разрешил свидание, только недолго, минут десять, не больше. Вернешься, на счет квартиры подумаем. Баул здесь оставь. Продукты? Не разрешается без врача. Муж твой не в живот ранен? Ну, ладно, неси.

Сашенька накинула на плечи белый больничный халат, поспешно достала из баула баночку с медом и, испытывая робость, поднялась вслед за привратницей на второй этаж. Длинный коридор, по обе стороны двери, двери.

— Направо по коридору, крайняя дверь, семнадцатая палата. Там твой Максим, ступай.

Сашенька пошла по коридору. Он ей показался длинным, длинным. Ах, как сильно билось сердце, как дрожали руки. Сейчас она увидит Максима... Пятнадцатая палата, шестнадцатая, вот и семнадцатая. Дверь полуоткрыта. Сашенька рукой тихонько толкнула дверь, вошла. В палате полумрак, окна занавешены темными шторами. Двумя рядами вдоль стен стоят белые кровати, покрытые белыми простынями, и на них, сливаясь с простынями, тоже белые-белые существа. Сашенька не увидела, догадалась—раненые. От окна к ней навстречу неслышно приблизилась женщина, тоже вся в белом, и тихо сказала:

— Вторая кровать от окна. Он ждет.

„Сестра, та, что писала письмо“, — мелькнула мысль.

Сашенька стояла посреди палаты, всматривалась в лежащих на кроватях раненых и испытывала ощущение человека, глянувшего вниз с высокой колокольни: в голове туман, нехорошо, того гляди — упадешь. Где же Максим?

— Максимушка, — тихо позвала.

И в ответ услышала знакомый зовущий голос:

— Сашенька!

Это сказал Максим, она слышала его, но где же он? На койках лежали какие-то странные тела с белыми пугающими шарами марли вместо голов. И она еще раз спросила?

— Максимушка, где ты?

— Сюда, иди сюда.

Голос раздался от окна. Она медленно пошла на зов и остановилась. Жестяная банка с медом выскользнула из рук, с грохотом упала на пол, покатилась под кровать. Нагнуться, поднять—нет сил. Шаг сделать—ноги к полу пристыли. Слово вымолвить—язык отнялся.

— Сашенька, дай руку.

Некое существо с таким же, как и у других, огромным белым шаром из бинтов вместо головы протянуло в ее сторону руку. Это и есть ее Максим? Она вздрогнула, повернулась и, не видя ничего, не видя двери, шатаясь, направилась прочь из палаты. Слезы душили ее, она боялась разрыдаться. Скорее, скорее из палаты. А голос Максима звал:

— Где же ты, Сашенька, иди сюда!

В коридоре она бессильно прислонилась к стене и разрыдалась.

— Тише, он услышит.

Около нее стояла сестра.

— Успокойтесь, вы только его разволнуете. Возьмите себя в руки.

— Я не буду, не буду.

Сашенька всхлипывала, старалась унять спазмы, грызла зубами носовой платок.

— Почему у него вся голова забинтована?

— Не голова, а глаза.

Сашенька прижала руки к груди и прерывающимся от волнения голосом спросила:

— Но почему глаза?

Сестра дотронулась до ее руки.

— Разве вы не знали: Максим ослеп.

Стена качнулась, переплет окна стремительно и безудержно понесся навстречу.

— Ой!..

— Что с вами?—испуганно вскрикнула сестра и подхватила падавшую Сашеньку.

* * *

— Я не могу, не могу его так оставить, это было бы подло и низко. Боже мой, чего больше всего боялась, то и случилось. Ослеп! Но он не виноват, он—герой. Он рассказывал, как загорелся его танк, а кругом были немцы, и он мчался в горящем танке и давил их. Как это все ужасно!

Сашенька сидела за столом в квартире привратницы, где временно поселилась. Был вечер, в раскрытое настежь окно тянуло теплым воздухом.

— В такие годы! Бедный мой Максим.—Сашенька хрустнула пальцами,—вы не знаете его, он на месте не мог усидеть, всегда чтонибудь делал, а теперь...

— У моей подруги брат тоже ослеп,—сказала сидевшая у окна дочь привратницы Нина,—тоже плакали, жалко, конечно, а потом привыкли. Книги научился переплетать, работает, ничего.

— Книги переплетать...Значит, он должен в городе жить. А он деревню любит, он машины любит, он с детства на земле сидел. В деревне слепому разве найдут дело.

— В городе для слепых специальные школы,—отозвалась привратница,—сапожники есть, музыканты, целый оркестр слепых. Сама видела, кого-то хоронили, а они идут за гробом, друг за дружку держатся, в трубы гудят. Слепой—не зрячий, конечно, но у нас и для слепых работа найдется. В госпитале еще подучат.

— И мне надо тут оставаться, не думала, не гадала. Себя теперь устраивать как-то надо.

— Это не трудно, на любой завод, хоть на наш ступай, примут. Хочешь, я с начальником цеха поговорю?—предложила Нина.

— Примут?

— У нас хорошо. Номерной завод—и снабжение, и зара-

боток приличный. Я второй год, а уже по четвертому разряду.

В тот же вечер Сашенька писала матери:

„Решила остаться в городе, пойду на завод, на котором работает Нина, дочь моей хозяйки. Не могу иначе поступить, мамочка. Должна быть там, где будет мой бедный Максим. Доктор говорит—нужно сделать какую-то операцию и, может быть, вернется зрение. Но я думаю утешает только. Уже два месяца Максим с повязкой на глазах. Он не горюет, он шутит: „Погоди, Сашенька, мы еще с тобой в жмурки будем играть, я всегда тебя найду“. Славный мой, родной Максим, разве могу его бросить, когда беда такая случилась. Ты бы тоже так поступила, правда? Он такой беспомощный, хуже малого дитяти.“

Ее рука быстро водила перо по бумаге, глаза туманились от слез. Все-таки Сашеньке и себя было жалко.

IX

Еще одна беда постучалась в дом, и Анна Степановна почувствовала, как она устала от всего, что пришлось пережить за этот год. Временами испытывала странную душевную пустоту и безразличие ко всему, что происходило вокруг. И казалось, уже ничто больше не может взволновать и тронуть ее.

„Старею,—подумала она о себе без всякой горечи, как о постороннем человеке,—и нервы не те и вся будто обмякла“.

Приходила тетка Наталья, плакала, по-бабьи причитала:

— Глазочки мои ясные, закрылись на веки.

Маслова сурово остановила:

— Не вой, не покойник. Слепой да живой. Иные матери совсем сыновей лишились.

— Как же без глаз, словно в потемках, солнышко не видит.

— Сашенька солнышко видит, а ей не легче.

— Сюда бы приехали, как-нибудь прокормимся, я бы и обстирала и обшила.

— Максиму тут делать нечего. Тут он обуза, в тягость и себе и людям, а в городе ремеслу обучат, Сашенька пишет.

Наталья вытирала фартуком глаза, горестно вздыхала:

— Какой же матери сын в тягость, что ты, Анна Степановна.

Обычно сдержанный, спокойный Алексей ходил нахмуренный и раздраженно говорил:

— Какое кому дело, что у меня нога короче. „Годен в нестроевые“. Да я сам лучше знаю, на что я годен. Еду на фронт, решено.

— Куда тебе хромоногую.

— Мать, прошу тебя не сбрасывай меня со счетов. Я пригожусь. Наблюдателем могу быть, боевую машину поведу, начальником штаба полка. Дел найдется. Ну, что говорить,—еду.

Маслова безнадежно махнула рукой.

— Делай, как знаешь, не маленький.

Она попрежнему ходила на стойбище, доила коров, помогала дояркам набивать бурьяном силосную яму, возила в фургонах с лугов пахучее сено, но делала это уже не с такой охотой, как прежде, а по привычке: нельзя человеку без дела

жить. Даже к успехам Евдокии отнеслась безразлично, чем удивила Катерину.

— Не узнаю тебя, Степановна. Евдокия обогнала, а ты хоть бы что.

— Хорошо, что обгоняет. Значит, старания мои даром не пропали. И я кое-что сделала. Теперь можно и домой уехать.

Катерина запротестовала:

— Теперь только и работать, дел—горы.

Маслова смотрела ласково на Катерину:

— И без меня управитесь. Гляжу на вас и люблюсь: хороша порода наша русская—чем тяжелее доля, тем крепче люди, к работе злее. Выдюжите, одолеете, а меня старуху отпустите с миром.

Мысль о возвращении в родной город не оставляла все эти дни. Несколько раз во сне даже видела, как подъезжает к дому, входит в знакомые сени, отворяет дверь, даже запах квартиры, особый запах старого жилья слышала. Ах, скорее бы в родной город, там и камни мостовой приют дадут.

Стоял жаркий июльский день. Над степью, слепя глаза, дрожало марево. Травы побурели от солнца. Выжженная, истомленная, голая простиралась она на многие километры. Надсадно и надоедливо трещали кузнечики. Жирные суслики, встав на задние лапки, тоненько свистели и ныряли в норы, слышав шаги.

Маслова одна возвращалась со стойбища. Поднялась на курган, возвышающийся среди степи, остановилась отдохнуть, окинула взглядом окрест. Далеко-далеко видно. Вон по дороге, поднимая густую пыль, трактор тащит на прицепе комбайн: скоро уборка; вправо, у холма косят сено, еле различить трактор и прицепленные к нему сенокоски; отсюда кажется: черный жук поймал стрекозу, тащит за собой, они трепещут крыльшками, машут ими, машут, вырваться не могут. Позади, в низине, у пересохшей речушки лежало село. Оно совсем затерялось в этих просторах, избы сбились, издали село походило на отдыхающую у речки овечью отару. Вот свиснет пастух, шелкнет кнутом, овцы вскочут, метнутся и исчезнет село. Земли - то сколько! Не обойти, не обскакать. Внимая безмолвию степи, глядя на ее суровые бескрайние просторы, Маслова особенно остро почувствовала себя одинокой немощной старухой.

„Кому я нужна, — думала она с горечью, — Алексей рвется на фронт, Сашенька — у Максима, Витеньки — нет, от остальных трех — давно никаких вестей, Ксаша — полусвоя, получужая. Только старик верный остался, один под конец жизни, как и вначале, добрый старый друг“.

Опять потянуло домой, захотелось вдохнуть смолистый запах хвои в сосновом лесу, где в детстве, бывало, искала рыжиков, заглянуть в рошу, что за станцией по дороге к дому отдыха, потрогать рукой гладкий чистый ствол березы, сколупнуть ногтем ее белую с коричневым исподом бересту, взглянуть на небо, там и небо не такое, там и земля другая. Ах, да что говорить! Земля родная, дедами, прадедами обжитая, их потом облитая!

их руками возделанная, пашнями, садами, прудами приукрашенная, кормилица, поилица, какому сердцу не мила, кому не дорога! Где бы ни был человек, как бы ни жил, а все же потянет его к родному месту, к своему углу, к дорогим могилам. Вишенник на дворе—десяток тощих деревьев, колодезный сруб, покосившееся крыльцо и саморучно выстланный у дома тротуар из битого кирпича, посаженный у окон в день рождения сына тополь—как все это дорого и мило!

На миг представилось: едет она по своей улице, колеса стучат и подпрыгивают по мостовой. Киоск на углу, где всегда поили ребят шипучей водой с сиропом, табачная лавочка, вот баня, вот дом, где жила сумасшедшая вдова известного в городе адвоката, а вон и железная крыша их дома, и тополь у окон, и покосившееся крыльцо с тремя ступеньками и на крыльце с трубкой в зубах старик. Смотрит, прищурился, не узнает. Скорей бы!

Маслова повернулась и почти бегом спустилась с кургана.

„Сейчас же пошлю письмо. Его, старого ничем не доймешь. Другой давно бы вызов прислал, а он, поди, все раздумывает“.

Дома ждала приятная новость. На пороге встретила улыбающаяся Ксаша:

— Отец вызов прислал.

— Наконец-то!

И как тогда, в памятную горькую мину ту печали и скорби, когда узнали о гибели Виктора, кинулись друг другу в объятия и заплакали; это уже были слезы радости.

— Мамаша, опять домой.

— А помнишь, сомневалась: вернемся ли. Вот и настал наш час. Я верила, я знала.

Вошел Алексей в гимнастерке, опоясанный ремнем, в сапогах, одетый по всей форме.

— Из военкомата пришло извещение. Еду! И я с вами, мне по пути. Собирайтесь! Трубачи, играйте поход! Вот, мать, как хорошо все обернулось, а ты сердилась на меня.

* * *

Червяков олечалился, когда Маслова сообщила об отъезде.

— Неволить не могу, а по совести сказать—жалко отпустить, Анна Степановна. Прожила бы с нами до конца войны, вернется народ с победой, наварим браги, отпляшем, ну и проводим. Не можешь? Понимаю, тянет к родному очагу. Может, там и разрушено, и сожжено, дома не найдешь, места своего не узнаешь, а на родной сторонушке, как говорится, и волк приятель. На дорогу курочек вели изжарить, приготовь яичек, хлеба, чтобы безо всякой нужды. Пятерик муки захватишь, пшеница, маслица. Ни-ни, это не милость, это тобой заработанное. И Алексей Васильич отъезжает? Жаль, жаль... А то, может, задержитесь на месяц—другой? Осенью, как уберемся, так и поедете. Самая работа сейчас в поле. Жалко мне с вами расставаться... Ну, желаю...

Маслова обошла всех знакомых. Прощались тепло. И все высказывали сожаление. Даже Евдокня, по привычке сжав губы, сказала:

— Тебя буду помнить.

— По-хорошему или скверно?

— О дальнем человеке, как о покойнике, худо не говорят. Научила и меня ты кое-чему, и на том спасибо.

Червяков дал парную подводку, нагрузили ее мешками с продуктами, заставили поклажей — узелками, корзинками, еле уселись: трое взрослых — Анна Степановна, Алексей, Ксаша и малыши — двое внучков и Валя.

У ворот стояла небольшая группа провожающих: тетка Наталья, Аграфена, Катерина и Петр Петрович. Он прибежал из сада, выпачканный землей, перед самым отъездом, жал крепко руку Масловой и Алексею, заглядывал в лицо Ксаши, порывался что-то сказать, не решался и смущенно бормотал:

— Горестно мне, друзья мои: один, теперь уже совсем один. Обещайте, хоть изредка помянуть меня в мыслях, а если письмецом пожалуете — осчастливите... Вас я долго помнить буду, Анна Степановна, и вас, Алексей Васильич, и вас, — поклон в сторону Ксаши.

Глаза юриста были влажны, губы вздрагивали. Масловой стало жалко его, и она была искренна, когда сказала на прощанье:

— Желаю вам всего доброго, Петр Петрович. На свете все проходит, дождетесь и вы своего дня, вернетесь к себе домой.

— Да, конечно, конечно, — бормотал Перепелица.

Уже были уложены все мешки, узлы, свертки, постель, уже два раза женщины перецеловались, Алексей с Перепелицей выкурили по папиросе, Вля уже захотела пить и Аграфена вынесла ей в кружке воды, а все еще не трогались. Наконец, Маслова удобнее уселась на мешке с картошкой, поправила на голове платок, решительно сказала:

— Трогай.

Алексей, поместившийся рядом с возницей, хлестнул лошадей кнутом, Ксаша замахала рукой, Колюшка звизжал от восторга, и они поехали. Клубилась позади пыль, колеса катились, слегка поскрипывая по накатанной ровной дороге.

— Вот и конец, — сказала Ксаша, когда выехали из села в степь.

— Почему конец, по-моему, начало, — ответил Алексей, — начало новой жизни.

— Всю свою жизнь я только и делала, что начинала жить, — произнесла Маслова: — родилась — начинала, поступила на фабрику — новая жизнь, замуж вышла — началось все сызнова, потом революция произошла — для всех новая жизнь началась, теперь война, а после войны — опять заново будем жить... И все ждала — вот будет лучше, вот будет легче, вот скоро настоящая жизнь пойдет. Как на вокзале: сидишь, ждешь поезда, придет, сядешь и поедешь. А пока ждешь — и корзину не развязываешь, и постель не трогаешь, и пигаешься всухомятку, кое-

как — временно, мол. Сейчас еду опять новую жизнь начинать. И думаю — жизнь-то настоящая и была тогда, когда ее ждала. Плохо ли до войны жилось!

— Всегда прошлое хорошим кажется,—отозвалась Ксаша,—оглянешься назад, а самые лучшие годы уже прошли.

— Тебе рано об этом думать, у тебя все впереди.

— Нет, теперь какая жизнь.

На край степи с востока медленно надвигалась огромная фиолетовая туча. Она угрожающе нависла, постепенно обволакивая небо. Связки оборванных облаков, как вспугнутые белые чайки, стремительно проносились низко над степью и исчезали вдаль. Казалось, туча дымилась. Потянуло свежим прохладным ветерком, султаны пушистого ковыля в степи заколыхались, подернулись рябью. Солнце зашло за тучи, набежали сумерки. Небо набухло дождем, и вдруг темную, медленно ползущую громаду прорезала изломанная, ярко сверкнувшая молния, точно кривым ножом полосонуло, и глухо, раскатисто пророкотал гром.

— Гроза будет, — затревожилась Маслова, поглядев с опаской на тучу,— успеть бы до станции доехать.

Алексей посмотрел на небо, сказал:— Люблю грозу,—и вполголоса затянул:

Будет буря, мы поспорим
И поборемся мы с ней.

— Будет гроза, еще будут большие испытания и потрясения.

— Ну, все равно, что бы там ни было, домой едем, — сказала Маслова.— Теперь из дома—никуда. Хватит, поездили. Умирать хочу дома.

Ее загорелое, обветренное лицо, словно выточенное из камня, было сумрачно.

„И поборемся мы с ней“ — напевал вполголоса Алексей. — Зачем умирать, мать. Надо бороться и жить. Мы еще заживем. Мы будем хорошо жить.

Снова блеснула молния. Явственно и раскатисто прогремел гром.

Декабрь 1942 года —
март 1945 года
Саратов

ЧИТАТЕЛЬ!

Замечания по содержанию и оформлению этой книги шлите по адресу: гор. Саратов, Вольская, 81, Дом Книги, Областному государственному издательству.

Посылая свой отзыв, не забудьте сообщить Вашу профессию, образование и где работаете.

Отв. редактор *М. Котов*.

Корректор *З. Чуднова*.

Обложка художника *А. Скворцова*

НГ23523. Подп. к печ. 19/VI 1945 г. Печатных листов 8¼. Уч.-изд. л. 9,85.
Тираж 10000 экз. Цена 5 руб.

Заказ № 964. Саратов. Типография № 1 Полиграфиздата.

Цена 5 руб.

57